

**СИНКЛЕР
ЛЬЮИС**

ЭРОУСМИТ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Синклер Льюис
Эроусмит

«Издательство АСТ»

1925

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Льюис С.

Эроусмит / С. Льюис — «Издательство АСТ»,
1925 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-145769-3

Молодой талантливый врач Мартин Эроусмит всегда мечтал посвятить свою жизнь научным исследованиям на благо человечества. За частной практикой в глухой провинции следует работа в крупной клинике в мегаполисе, а потом и должность в научном институте. Однако везде Эроусмит сталкивается с пагубным для профессии, призванной спасать жизни, карьеризмом коллег, для которых медицина — обычный доходный бизнес. Но однажды Мартину все же выпадает шанс исполнить свои мечты о бескорыстной помощи людям и проверить созданное им новое лекарство в условиях смертельно опасной эпидемии... Роман был положен в основу сценария одноименного фильма Джона Форда, номинированного на премию «Оскар» в четырех категориях.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-145769-3

© Льюис С., 1925

© Издательство АСТ, 1925

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	19
Глава 4	28
Глава 5	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Синклер Льюис Эроусмит

Sinclair Lewis
Arrowsmith

© Перевод. Н. Вольпин, наследники, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

* * *

Я в долгу перед доктором Полем А. де Крюи не только за большую часть бактериологического и медицинского материала для этой книги, но и за помощь в разработке самой фабулы, за то, что в каждом персонаже романа он видел живого человека, за его философию ученого. Этим признанием я хочу помянуть месяцы нашей близости во время работы над книгой – в Соединенных Штатах, в Вест-Индии, в Панаме, в Лондоне, в Фонтенбло. Хотелось бы мне воспроизвести наши разговоры в пути, и дни в лабораториях, и ночные рестораны, и палубу на рассвете, когда входили мы в тропические гавани.

Синклер Льюис

Глава 1

В фургоне, пробиравшемся через леса и болота пустынного Огайо, сидела за возницу девочка лет четырнадцати в рваном платье. Ее мать похоронили близ Мононгахилы – девочка сама обложила дерном могильный холмик на берегу реки с красивым названием. Отец лежал в лихорадке на полу фургона, а вокруг него играли ее братья и сестры, чумазные ребяташки в отрепьях – веселые ребяташки.

У развилка, посреди заросшей травой дороги, девочка остановила фургон, и больной прерывающимся голосом проговорил:

– Эмми, ты бы лучше свернула на Цинциннати. Если нам удастся разыскать дядю Эда, он, я думаю, примет нас к себе.

– Никто не захочет нас принять, – сказала девочка. – Поедем прямо вперед, покуда можем. На запад! И я увижу много нового!

Она сварила ужин, уложила детей спать и долго сидела одна у костра.

Это была прабабка Мартина Эроусмита.

Во врачебном кресле в кабинете дока Викерсона, закинув ногу на ногу, пристроился мальчик и читал «Анатомию» Грея. Звали его Мартин Эроусмит из Элк-Милза в штате Уиннемак.

В Элк-Милзе (тогда, в 1897 году, это была неприглядная деревушка с домами красного кирпича, и пахнувшая яблоками) уверяли, что раздвижное коричневой кожи кресло, на котором док Викерсон производил мелкие операции и дергал изредка зубы, а чаще подремывал, начало свое существование в цирюльне. Держалось также поверье, что некогда его владелец прозывался доктором Викерсоном, но с годами он превратился просто в «дока», и был он еще обшарпанней и куда неподатливей своего кресла.

Мартин был сыном Дж. Дж. Эроусмита, который служил управляющим в «Нью-Йоркской распродаже готового платья». Из чистого задора и упрямства мальчик сделался в четырнадцать лет неофициальным и, разумеется, бесплатным ассистентом дока; когда док объезжал больных по окрестностям, он его заменял – хотя, в чем нужно было заменять дока, никто не мог бы объяснить. Мартин был стройный мальчик, не очень высокий; волосы и беспокойные глаза были у него черные, а кожа необычайно белая, и этот контраст, казалось, говорил о страстном непостоянстве. Все же благодаря квадратной голове и изрядно широким плечам он не выглядел женственным; не было в нем и той раздражительной робости, которую молодые джентльмены артистического склада именуют щепетильностью. Когда он, слушая, вскидывал голову, правая бровь его, лежавшая немного выше левой, поднималась и подергивалась в характерном для него выражении, энергическом и независимом, – и тогда видно было, что мальчик умеет постоять за себя, и обнаруживалась та дерзкая пытливость, за которую его недолюбливали учителя и директор воскресной школы.

Мартин, как большинство обитателей Элк-Милза до славяно-итальянской иммиграции, был типичным чистокровным американским англосаксом – иными словами, в его жилах текла германская и французская кровь, шотландская, ирландская, немного, может быть, испанской, вероятно в некоторой дозе и та смесь, что зовется еврейской кровью, и в большой дозе – английская, которая, в свою очередь, представляет собой соединение древнебританского, кельтского, финикийского, романского, германского, датского и шведского начал.

Нельзя с уверенностью утверждать, что, когда Мартин пошел в помощники к доку Викерсону, им безраздельно руководило высокое желание сделаться Великим Целителем. Правда, он внушал трепет своим ровесникам, когда перевязывал им ссадины или анатомировал белок и при этом разъяснял, какие поразительные и таинственные вещи кроются в физиологии; но в

то же время он не был вполне свободен от тщеславного стремления стяжать среди товарищей славу, какая озаряла сына епископального священника, мальчика, который выкуривал целую сигару, не испытывая тошноты. Но сегодня он усердно читал главу о лимфатической системе, выговаривая вслух длинные и совершенно непонятные слова, и от его бормотания в пыльной комнате еще больше клонило ко сну.

Комната была средняя из трех, занимаемых доком Викерсоном, окнами на Главную улицу, прямо над «Нью-Йоркской распродажей готового платья». По одну сторону от нее была затхлая приемная, по другую – спальня Викерсона. Док был старый вдовец; он нисколько не заботился о том, что презрительно называл «женским уютом»; в его спальне, где стояла шаткая шифоньерка и прикрытая грязными одеялами походная кровать, никто не прибирал, кроме Мартина – в тех редких случаях, когда на мальчика находили приступы санитарного рвения.

Эта средняя комната служила одновременно конторой, врачебным кабинетом, операционной, гостиной, местом для игры в покер и складом охотничьих и рыболовных принадлежностей. У бурой оштукатуренной стены стоял стеклянный шкаф с зоологической коллекцией и медицинскими диковинами, а рядом – самый страшный и самый приманчивый предмет, какой только знали элк-милзские мальчишки: скелет с одиноким золотым зубом в оскале. По вечерам, когда док бывал в отлучке, Мартин для укрепления своего престижа приводил притихших мальчишек в жуткую темноту комнаты и чиркал серной спичкой о челюсть скелета.

На стене висело чучело жуки, собственноручно изготовленное доком и укрепленное на самодельной отполированной доске. Рядом со ржавой печуркой на захарканном, протертом до основы линолеуме стояла плевательница – просто ящик с опилками. На ветхом столе лежала груда памятных записей о долгах, которые док постоянно клялся «собрать наконец с этих прощелыг», но которые он никогда, ни при каких обстоятельствах не взыскал бы ни с одного должника. Из года в год... из десятилетия в десятилетие... из века в век – ничто не менялось для работяги-врача в хлопотливом, как пчелиный улей, городке.

Самый антисанитарный угол был занят чугунной раковиной, которой чаще пользовались для мытья перемазанных яйцом тарелок после завтрака, чем для стерилизации инструментов. По ее краям разложены были разбитая пробирка, сломанный рыболовный крючок, пузырек без ярлыка с какими-то пилюлями, неизвестно какими, ошетилившийся гвоздями каблук, изжеванный окурок сигары и воткнутый в картофелину ржавый ланцет.

Эта неприбранная запущенная комната выражала душу дока Викерсона, была ее символом: она волновала сильнее, чем безличные стопки башмачных коробок в «Нью-Йоркской распродаже»; она манила Мартина Эроусмита на исследования и приключения.

Мальчик вскинул голову, поднял пытлившую бровь. На лестнице слышны были тяжелые шаги дока Викерсона. Док не пьян! Мартину не придется укладывать его в постель.

Но было недобрым признаком, что док прошел сперва через прихожую в спальню. Мальчик стал вслушиваться и услышал, как док отворил нижний шкафчик в умывальнике, где держал бутылку ямайского рома. Забулькало; затем невидимый доктор поставил бутылку на место и решительно захлопнул ногою дверцу. Пока не страшно. Только раз приложился к бутылке. Если теперь он пройдет сразу в кабинет, все обойдется благополучно. Но док все еще стоял в спальне. Мартин вздохнул, когда дверца умывальника снова поспешно отворилась, и снова послышалось бульканье, потом в третий раз.

Поступь дока была много бодрее, когда он ввалился в кабинет серой тушей с серой щеткой усов – огромный, нереальный и неопределенный, точно облако, на миг принявшее сходство с человеком. Сразу кидаясь в атаку – обычный прием у того, кто желает предотвратить разговор о своей провинности, – док подошел к письменному столу и загремел:

– Что вы тут делаете, молодой человек! Что вы тут делаете? Т-так и знал, что кошка что-нибудь притащит, если я не запру дверь. – Он негромко икнул, улыбнулся, чтобы показать, что шутит, а то люди не всегда умеют распознать, в каком настроении док.

Он продолжал уже серьезней, забывая временами, о чем говорит:

– Читаешь старого Грея? Хорошее дело. Библиотека врача – это три книги: «Анатомия» Грея, Библия, Шекспир. Учись. Из тебя может выйти великий врач. Будешь жить в Зените и зашибать пять тысяч долларов в год – что твой сенатор. Меть всегда повыше. Лови удачу. И работай над собой. Кончишь сперва колледж, потом – на медицинский факультет. Изучай химию. Латынь. Науки! Я горе-врач. У меня ни кола ни двора. Я старый бобыль и пьяница. А ты – ты будешь видным врачом. Будешь зашибать пять тысяч в год!

У жены Маррея эндокардит. Я ничего не могу для нее сделать. Некому посидеть с ней, подержать за руку. Дорога – просто проклятие. Разворотило дренажную трубу за рощей. Прр... клятие!

Эндокардит и...

Учеба тебе нужна, учеба! Знать основы. Химию. Биологию. Я-то их не изучал. Миссис Джонс, жена преподобного Джонса, думает, что у ней язва желудка. Хочет ехать в город на операцию. Язва, как же! Оба они, и сам преподобный и его супружница, жрут не в меру!

Что они не исправят дренаж... И еще: не надо быть таким, как я, пропойцей. Учиться надо – накапливать знания. Чего не поймешь, объясню.

Мальчик, хоть и был он обыкновенным деревенским парнишкой, который не прочь пошвырять камнями в кошек и поиграть в пятнашки, испытывал лихорадку кладоискателя, когда док заплетающимся языком старался открыть его духовному взору всю славу знания, говорил ему про универсальность биологии, про торжествующую точность химии. Док был старый толстый человек, нечистоплотный, опустившийся. С грамматикой он не ладил, его словарь смутил бы хоть кого, а его отзывы о своем сопернике, добрейшем докторе Нидхэме, были прямо скандальны; и все-таки он умел пробудить в Мартине мечту о химических опытах с шумными взрывами и вонью, мечту о разглядывании микроскопических букашек, которых еще не доводилось увидеть ни одному мальчику в Элк-Милзе.

Голос доктора стал глуше. Старик опустился в кресло, взгляд его был мутен, нижняя губа отвисла. Мартин упрасивал его лечь, но док не сдавался.

– Не желаю спать! Нет! Выслушай. Ты не ценишь, а ведь я... Я уже стар. Я делюсь с тобою всеми знаниями, которые сам приобрел. Показываю тебе коллекцию. Единственный музей на весь край. Я – пионер просвещения.

Сотни раз Мартин послушно смотрел на предметы, разложенные в темном книжном шкафу с потускневшей полировкой; на жуков и на куски слюды; на зародыш двухголового теленка; на камни, удаленные из печени одной почтенной дамы, имя которой док с энтузиазмом называл каждому своему посетителю. Док стоял перед шкафом и водил громадным, но дрожащим указательным пальцем.

– Погляди на эту бабочку. Это – *porthesia chrysorrhoea*. Док Нидхэм не мог бы тебе ее назвать. Он не знает, как какую бабочку зовут! Ему неважно, получишь ты знания или нет. Запомнил ты теперь это название? – Он повернулся к Мартину. – Ты слушаешь? Тебе интересно? А? Тьфу, черт! Никто и знать не желает о моем музее – ни одна душа! О единственном музее на весь край!! Я – старый неудачник!

– Да, право же, нет, – стал уверять Мартин. – Музей у вас шикарный!

– Смотри сюда! Смотри! Видишь? Вот здесь, в бутылке? Это – аппендикс. Первый аппендикс, вырезанный в нашем округе. И вырезал его я! Да! Что ты думаешь! Старый док Викирсон первый в этом захолустье сделал операцию аппендицита! И основал первый музей. Небольшой – правда... но это – начало. Я не скопил денег, как док Нидхэм, но я положил основу первой коллекции – первой!

Он повалился в кресло, простонал:

– Ты прав. Пойду спать! Выдохся. – Но когда Мартин помог ему подняться на ноги, он рванулся в сторону, стал шарить рукой по письменному столу, подозрительно оглянулся. – Я хотел дать тебе кое-что. Положить начало твоему учению. Не забывай старика. Будет кто-нибудь помнить старика?

Док держал в протянутой руке свою нежно любимую лупу, которой годами пользовался в занятиях ботаникой. Он посмотрел, как Мартин опустил лупу в карман, вздохнул, попробовал сказать что-то еще и молча побрел в спальню.

Глава 2

Штат Уиннемак граничит с Индианой, Иллинойсом, Огайо и Мичиганом и, подобно им, представляет собой сочетание Востока со Средним Западом. Его кирпичной стройки деревни, осененные чинарами, его промыслы и традиции, восходящие к войне за независимость, дышат Новой Англией. Самый крупный город штата – Зенит – основан в 1792 году. Зато полями пшеницы и кукурузы, красными амбарами и силосными башнями Уиннемак принадлежит к Среднему Западу, и многие его округа, несмотря на седую древность Зенита, начали заселяться только с 1860 года.

Уиннемакский университет находится в Могалисе, в пятнадцати милях от Зенита. В нем учатся двенадцать тысяч студентов; Оксфорд рядом с этим чудом – крошечная богословская школа, а Гарвард – изысканный колледж для молодых джентльменов. При университете имеется бейсбольное поле под стеклянной крышей; его здания тянутся на много миль; он держит на жалованье сотни молодых докторов философии для ускоренного обучения студентов санскриту, навигации, счетоводству, подбору очков, санитарной технике, провансальской поэзии, таможенным правилам, выращиванию турнепса, конструированию автомобилей, истории города Воронежа, особенностям стиля Мэтью Арнольда¹, диагностике кимопаралитической миогипертрофии и рекламированию универмагов. Его ректор – первый специалист в Соединенных Штатах по добыванию денег и застольным речам; и Уиннемак первый среди университетов всего мира ввел передачу своих заочных курсов по радио.

Это не какой-нибудь колледж для юных снобов, посвященный праздным пустякам. Это – собственность граждан штата, а граждане штата нуждаются (или им внушают, что они нуждаются) в фабрике по изготовлению мужчин и женщин, которые вели бы нравственный образ жизни, играли бы в бридж, ездили бы в хороших автомобилях, проявляли предприимчивость в делах и при случае упоминали ту или иную книгу, хотя всякому ясно, что читать им некогда. Это – фордовский завод; выпускаемые им автомобили хоть и дребезжат, зато безукоризненно стандартизованы, и их части можно легко переставлять с одного на другой.

Влияние Уиннемакского университета и численность его студентов растут с каждым часом, и можно ожидать, что к 1950 году он создаст совершенно новую всемирную цивилизацию – более мощную, более бойкую, более чистую.

В 1904 году, когда Мартин Эроусмит, получив звание бакалавра наук и искусств, готовился к поступлению на медицинский факультет, Уиннемак насчитывал всего пять тысяч студентов, но был уже довольно бойким центром.

Мартину исполнился двадцать один год. Он все еще казался бледным – по контрасту с гладкими черными волосами, но был приличным бегуном, неплохим центром в баскетболе и ярым хоккеистом. Студентки перешептывались о его «романтической внешности»; но так как было это до изобретения половой проблемы и до эры вечеринок с поцелуями, они говорили о нем только на расстоянии, и он не знал, что мог бы сделаться героем любовных историй. При всем своем упрямстве он был застенчив. Он не был совсем неопытен в ласках, но не превращал их в занятие. Общество его составляли молодые люди, мужскою гордостью которых было курить замусоленную кукурузную трубку и носить замусоленный свитер.

Университет стал его миром. Элк-Милз для него больше не существовал. Док Викерсон умер, был похоронен и забыт; отец и мать Мартина умерли, оставив ему средства только на окончание университета. Целью его жизни были химия и физика с перспективой биологии на будущий год.

¹ Арнольд, Мэтью (1822–1888) – английский литературовед и критик.

Кумиром Мартина был профессор Эдвард Эдвардс, руководитель кафедры химии, известный всем под кличкой «Дубль-Эдвардс». Познания Эдвардса в истории химии были необъятны. Он читал по-арабски и приводил в ярость своих коллег, уверяя, что арабы превосхитили все результаты их изысканий. Сам профессор Эдвардс никогда не занимался изысканиями. Он сидел перед камином, гладил свою овчарку и посмеивался в бороду.

В этот вечер Дубль-Эдвардс устроил один из своих обычных приемов, всегда охотно посещавшихся. Он откинулся на коричневую спинку обитого плюшем кресла и спокойно шутил на радость Мартину и еще пяти-шести молодым фанатикам химии, поддразнивая доктора Нормана Брамфита, преподавателя английской литературы. Комната была полна весельем, пивом и Брамфитом.

В каждом учебном заведении есть свой бунтарь, призванный повергать в трепет и смущение переполненные аудитории. Даже в столь интенсивно-добродетельной организации, как Уиннемакский университет, был такой бунтарь, – этот самый Норман Брамфит. Ему безоговорочно разрешалось говорить о себе, как об аморальном существе, агностике и социалисте, поскольку всем было известно, что он хранит целомудрие, верен пресвитерианской церкви и состоит в республиканской партии. Сегодня Брамфит был в ударе. Он уверял, что всякий раз, как мы имеем дело с гениальным человеком, можно доказать, что в нем есть еврейская кровь. Как всегда бывает в Уиннемаке, когда заходит речь об иудаизме, разговор перешел на Макса Готлиба, профессора бактериологии на медицинском факультете.

Профессор Готлиб был загадкой университета. Было известно, что он еврей, что он родился и учился в Германии и что его работы по иммунологии стяжали ему славу на Востоке² и в Европе. Редко выходил он из своего обветшалого коричневого домика, если не затем, чтоб вечером вернуться в лабораторию, и мало кто из студентов, не слушавших его курса, знал его в лицо; но каждый слышал о нем – о высоком, худом и смуглолицем затворнике. О нем ходили тысячи басен. Рассказывали, что он сын немецкого принца, что он несметно богат и живет так же скудно, как и прочие профессора, только потому, что производит таинственные и дорого-стоящие опыты, – возможно, связанные даже с человеческими жертвами. Говорили, что он достиг умения создавать жизнь лабораторным путем, что, делая прививки обезьянам, он с ними разговаривает на обезьяньем языке, что из Германии он изгнан как поклонник дьявола и анархист и что каждый вечер он тайно пьет за обедом настоящее шампанское.

Традиция не позволяла профессорам и преподавателям разбирать своих коллег в присутствии студентов, но Макса Готлиба никто не смел считать своим коллегой. Он был безличен, как холодный северо-восточный ветер. Доктор Брамфит ораторствовал:

– Я достаточно, смею сказать, либерален в вопросе о правах науки, но с таким человеком, как Готлиб... Я готов поверить, что он знает все о силах материальных, но меня поражает, когда такой человек слепо закрывает глаза на жизненную силу, создающую все другие. Он утверждает, что знание не имеет цены, если не опирается на цифры. Прекрасно! Если кто-нибудь из вас, молодых светил, может взять и вымерить гений Бена Джонсона портновским сантиметром, тогда я соглашусь, что мы, бедные словесники, с нашей безусловно нелепой верой в красоту, и верность идеалам, и в мир сновидений, – что мы на ложном пути!

Мартин Эроусмит не вполне уяснил себе точный смысл этих слов, но в юном своем пылу несколько этим не смутился. Он с облегчением услышал, как профессор Эдвардс из гущи бороды и табачного дыма проронил нечто до странности похожее на «тьфу, пропасть!» и, перебив Брамфита, сам завладел разговором. В другое время Дубль с любезной язвительностью стал бы уверять, что Готлиб «похоронных дел мастер», который тратит за годом год на разрушение теорий, созданных другими учеными, сам же не вносит в науку ничего нового. Но сегодня, в пику таким пустомелям-словесникам, как Брамфит, он стал превозносить Готлиба

² Т.е. в восточных штатах США.

за долгие, одинокие, неизменно безуспешные усилия синтезировать антитоксин, за дьявольское наслаждение, с каким он опровергает свои собственные положения наряду с положениями Эрлиха³ или сэра Алмрота Райта⁴. Говорил он и о прославленной книге Готлиба «Иммунология», которую прочли семь девятих из всех людей, имеющих некоторые шансы ее понять, – а их во всем мире девять человек.

Вечер закончился знаменитыми пончиками миссис Эдвардс. Сквозь марево весенней ночи Мартин зашагал к своему пансиону. Спор о Готлибе вызвал в нем безотчетное волнение. Он думал о том, как хорошо ночью в лаборатории, одному, уйти с головой в работу, презирая академический успех и общедоступные лекции. Сам он никогда не видел Готлиба, но знал, что его лаборатория помещается в главном медицинском корпусе. Он побрел по направлению к отдаленному медицинскому городку. Те немногие, кого он встретил на пути, торопливо и настороженно проходили мимо. Мартин вступал в тень анатомического корпуса, угрюмого, точно казарма, и тихого, как мертвецы, что лежали там в секционной. Поодаль вставал со своими башнями главный медицинский корпус – угрюмая, туманная громада; высоко в темной стене – одинокий свет. Мартин замер. Свет внезапно потух – точно потревоженный полуночник старался спрятаться от него, Мартина.

Две минуты спустя на каменном крыльце медицинского корпуса появилась под дуговым фонарем высокая фигура аскета, замкнутого, неприступного. Смуглые щеки его были впалы, нос тонкий, с горбинкой. Он не торопился, как запоздалый семьянин. Он не видел мира. Он посмотрел на Мартина – сквозь него; и побрел прочь, что-то бормоча про себя, сгорбив плечи, стиснув за спиной длинные переплетенные пальцы. Сам подобный тени, он скрылся среди теней.

На нем было сильно потертое пальто, как у любого небогатого профессора, но Мартину он запомнился в черном бархатном плаще, с горделивой серебряной звездой на груди.

С первого дня поступления на медицинский факультет у Мартина Эроусмита сложилось высокое мнение о себе. Он был медиком и потому казался романтичнее других студентов, ибо медики славятся знакомством с различными тайнами, ужасами, захватывающими пороками. Студенты других отделений забегают к ним заглянуть в их книги. Но, будучи бакалавром наук и искусств, получившим общеобразовательную подготовку, он ставил себя выше и своих же товарищей медиков, которые по большей части кончили только среднюю школу или в лучшем случае проучились еще год в каком-нибудь захудалом лютеранском колледже, затерявшемся среди кукурузных полей.

Однако при всей своей гордости Мартин нервничал. Он думал о том, как ему придется делать операции, – еще, чего доброго, неправильным разрезом убьешь человека, а более непосредственно страшила мысль о секционном зале, о строгом, неприветливом анатомическом корпусе. Ему доводилось слышать рассказы старших медиков об ужасах «анатомички», о темном подвале, где в чанах с рассолом, на крючках, точно связки омерзительных плодов, подвешены трупы, о слуге Генри, который, говорят, вытаскивает трупы из рассола, вводит им в вены сурик и, укладывая на подъемник, обзывает бранными словами.

Осенний день дышал степною свежестью, но Мартин ничего не замечал. Миновав аспидно-черный вестибюль главного медицинского корпуса, он спешил по широкой лестнице к кабинету Макса Готлиба. Он не глядел на встречающих студентов и, когда налетал на них, смущенно бормотал извинения. Это был знаменитый час! Мартин решил избрать специальностью бактериологию; он откроет чудесные неведомые микробы; профессор Готлиб признает в нем гения, сделает его ассистентом, предречет ему... Мартин остановился в личной лаборатории

³ Эрлих, Пауль (1854–1915) – знаменитый немецкий бактериолог, создатель препарата «606» для лечения сифилиса.

⁴ Райт, Алмрот (1861–1947) – известный английский врач и ученый.

Готлиба, маленькой опрятной комнате, где на рабочем столе выстроились в деревянной стойке заткнутые ватой пробирки; здесь не было ничего замечательного, ничего колдовского, кроме водяной бани с ее замысловатым градусником и электрическими лампочками. Мартин переждал, пока другой студент – какой-то остолоп и заика – кончил разговор с Готлибом, темным, худым и бесстрастным у своего письменного стола в каморке при лаборатории, – затем ринулся вперед.

Туманной апрельской ночью Готлиб представился Мартину романтичным, точно всадник в плаще, теперь же он показался раздражительным средних лет человеком. Вблизи Мартин разглядел морщинки вокруг его ястребиных глаз. Вот он снова повернулся к столу, на котором лежала груда растрепанных записных книжек, листы с вычислениями и изумительно точная диаграмма с красными и зелеными кривыми, спадающими до нуля. Вычисления записаны были изящно, мелко, восхитительно четко; изящны были и тонкие руки ученого, перебиравшие бумаги. Он поднял глаза и заговорил с легким немецким акцентом. Он произносил слова не то чтобы неправильно, а с каким-то теплым, чужестранным призвуком.

– Да? Так что?

– Ах, профессор Готлиб, меня зовут Эроусмит. Я – медик, первокурсник, кончил Уиннемакский колледж. Я страшно хотел бы приступить к бактериологии с этой же осени, а не в будущем учебном году. Я хорошо подкован по химии...

– Нет. Вам рано.

– Честное слово, я уверен, что могу приступить теперь же.

– Боги посылают мне студентов двух пород. Первую породу они подсыпают мне, как картошку. Я картошку не люблю, да и картошка, по-видимому, тоже не питает ко мне особенной нежности, но я ее беру и учу убивать пациентов. Другая порода... их очень мало!.. и у них как будто по не совсем ясной для меня причине есть некоторое желание стать учеными, возиться с микробами и совершать ошибки. Таких... о, таких я прибираю к рукам, сбиваю с них спесь и первым делом заставляю их усвоить основной принцип науки, который гласит: ждать и сомневаться. От картошки я ничего не требую; от сумасбродов вроде вас, вообразивших, что я могу научить их чему-то, я требую всего. Нет. Вы слишком молоды. Придете ко мне через год.

– Но право же, с моим знанием химии...

– Физическую химию вы проходили?

– Нет, сэр, но я очень прилично знаю органическую.

– Органическая химия! Это не химия, а ерунда! Вонючая химия! Аптекарская химия! Физическая химия – это сила, это – точность, жизнь. А органическая – это занятие для судомоек. Нет. Вы молоды. Придете через год.

Готлиб был непреклонен. Мановением крючковатых пальцев он указал Мартину на дверь, и юноша выбежал вон, не смея спорить. Он был глубоко несчастен. На дворе он встретил веселого историка химии Дубль-Эдвардса и начал просительно:

– Скажите, профессор, есть для врача какая-нибудь ценность в органической химии?

– Ценность? Еще бы! Она изыскивает лекарства, утоляющие боль! Она производит краску, в которую выкрашен ваш дом, она расцвечивает платье на вашей возлюбленной, – а может быть, в наш век упадка, и ее вишневые губки! Какой гад посмел очернить мою органическую химию?

– Никакой. Я просто так, полюбопытствовал, – вздохнул Мартин и побрел в университетскую столовую, где в грусти и обиде съел громадную порцию бананового пломбира и плитку шоколада с миндалем.

«Я хочу заниматься бактериологией, – размышлял он. – Хочу изучать болезни в самом их корне. Что ж, подучусь физической химии. Покажу старому Готлибу, черт побери! В один прекрасный день я открою бациллу рака или чего-нибудь еще – натяну ему нос!.. О господи,

надеюсь, меня не стошнит, когда я в первый раз войду в анатомичку... Я хочу заняться бактериологией – теперь же!»

Перед ним всплыло насмешливое лицо Готлиба; он угадывал в нем взрывную силу ненависти и страшился ее. Потом вспомнились морщинки, и он увидел Макса Готлиба не гением, а человеком, которому знакома головная боль и мучительная усталость, которого можно полюбить.

«Действительно ли Эдвардс так уж много знает, как мне всегда казалось? Где истина?» – вопрошал он.

В первый день работы над трупами Мартин трусил. Он не мог глядеть на нечеловечески неподвижные лица отошало-серых людей, лежавших на деревянных столах. Но они были так безличны, эти старые бродяги, что через два дня Мартин стал звать их, как и другие медики, Биллом, Айком, «пастором» и относиться к ним так же, как к животным на занятиях по биологии. Сама секционная была безлична: жесткий цементный пол, жесткие оштукатуренные стены между зарешеченными окнами. Мартину претил запах формальдегида; этот и еще другой какой-то страшный приторный запах, казалось, лип к нему и за порогом секционной; но Мартин, чтоб забыть его, закуривал папиросу, и через неделю он уже изучал артерии с юношеским и очень нечестивым упоением.

Анатомировал он в паре с преподобным Айрой Хинкли, известным среди студентов под созвучным прозвищем Свинкли.

Айра готовился в миссионеры-врачеватели. Ему было двадцать девять лет, он окончил Поттсбургский христианский колледж и Миссионерскую школу Евангелического просвещения. В юности он играл в футбол; был силен, как бык, почти как бык, громаден и никакому быку не уступил бы в зычности рева. Веселый и беззаботный христианин, неумный оптимист, смехом смывавший все грехи и сомнения, жизнерадостный пуританин, он с назойливым мужеством проповедовал учение своей крошечной секты Евангелического братства, гласившее, что молиться в красивой церкви почти такой же разврат, как играть в карты.

Мартин поймал себя на том, что смотрит на Билли, их труп – малорослого, угреватого старика с отвратительной рыжей бородкой на окаменелом бело-розовом лице, – как на машину, изумительную, сложную, прекрасную, но все же машину. Это подорвало его и без того уже слабую веру в божественное происхождение и бессмертие человека. Он бы, может быть, оставил при себе свои сомнения, стал бы медлительно раздумывать над ними, вытягивая пинцетом нервы из развороченного предплечья, но Айра Хинкли не давал ему покоя. Айра верил, что даже студента-медика может привести к благодати, а благодать для Айры означала пение чрезвычайно длинных и немелодичных гимнов в часовне Евангелического братства.

– Март, сын мой, – ревел он, – сознаешь ли ты, что, хотя эту работу многие, пожалуй, назвали бы грязной, мы черпаем в ней знания, которые дадут нам возможность исцелять тела и врачевать души множества несчастных, погибших людей?

– Фью! Души! Я что-то не нашел души в старом Билли. Скажи по совести, неужто ты веришь в эту дребедень?

Айра сжал кулак, погрозил им, разразился смехом, огрел Мартина по спине и провозгласил:

– Брат, думаешь, такими мелочами можно разозлить Айру? Ты воображаешь, будто у тебя бездна этих новомодных сомнений? Успокойся, у тебя их нет – у тебя только расстроено пищеварение. Тебе нужна гимнастика и вера. Приходи к нам в ХАМЛ⁵, мы с тобой поплаваем, а потом помолимся. Эх ты, несчастный худосочный агностик, тебе представился случай разглядеть творение всемогущего – и что же ты извлек из этого урока? Ты только возомнил себя

⁵ ХАМЛ – христианская ассоциация молодых людей.

очень умным. Встряхнись, юный Эроусмит! Ты не знаешь, как ты смешон в глазах человека, запасшегося невозмутимой верой!

К восторгу работавшего за соседним столом Клифа Клосона, присяжного остряка, Айра пребольно пырнул Мартина пальцем меж ребер, стукнул его по затылку и мирно вернулся к работе, а Мартин так и заплясал от злости.

В колледже Мартин числился «диким» – он не принадлежал ни к одному из тайных обществ, именовавшихся какой-либо греческой буквой. К нему «подъезжали», но его раздражала снисходительность студентов-аристократов, уроженцев более крупных городов. Теперь, когда большинство его однокашников разъехалось, поступив в страховые конторы, в юридические школы, в банки, он чувствовал себя одиноким, и приглашение вступить в Дигамму Пи, главное медицинское братство, его соблазнило.

Дигамма Пи представляла собой бойкое общежитие с бильярдом и невысокими ценами. Грубый и завлекательный шум доносился оттуда по вечерам, и там непрерывно пели: «Когда умру, меня не хороните». Однако три года подряд дигаммовцы брали первенство на выпускных экзаменах и получали медаль Хью Луазо по хирургической практике. Этой осенью дигаммовцы почтили избранием Айру Хинкли, так как молва стала приписывать им распущенность (поговаривали, что по ночам в общежитие приводили контрабандой девиц), – братство же, завербовавшее в свои ряды преподобного мистера Хинкли, декан никак не мог считать безнравственным, а это давало серьезные преимущества, коль скоро члены его намеревались и впредь без помехи вести безнравственную жизнь.

Мартин ценил независимость своей отдельной комнаты, – в общежитии же теннисные ракетки, брюки, мнения – все было общим. Увидев, что Мартин колеблется, Айра стал его уговаривать:

– О, ты вступишь в Дигамму! Ты им нужен. Ты умеешь крепко заниматься – в этом я отдаю тебе должное. Подумай же, какую ты упускаешь возможность оказать на ребят хорошее влияние.

(Айра при каждом удобном случае называл своих однокурсников «ребятами» и зачастую применял этот термин на молениях в ХАМЛе.)

– Ни на кого я не хочу влиять! Я хочу научиться ремеслу врача и зарабатывать шесть тысяч долларов в год.

– Мой мальчик, если б ты только знал, как это глупо у тебя получается, когда ты прикидываешься циником! Поживи с мое – и ты узнаешь: вся прелесть профессии врача в том и заключается, что она дает тебе возможность, утоляя телесные мучения людей, приобщать их в то же время к высокому идеалу.

– А если им не нужен высокий идеал, как я его понимаю?

– Март, давай прекратим спор и помолимся вместе!

– Нет, уволь! По совести, Хинкли, из всех христиан, каких я только знал, ты самый большой эксплуататор. Ты у нас на курсе всякого забьешь. А когда я представляю себе, как ты будешь донимать несчастных язычников, когда станешь миссионером, как наденешь на всех мальчуганов штаны и разлучишь все счастливые пары, перевенчав любовников не с теми, с кем надо, мне хочется закричать «караул»!

Перспектива оставить свою надежную берлогу и попасть под крыло преподобного мистера Хинкли была невыносима. Только когда Ангус Дьюер принял приглашение Дигаммы Пи, Мартин тоже согласился вступить в братство.

Дьюер был одним из немногих одноклассников Мартина, перешедших вместе с ним на медицинский факультет. В колледже Дьюер был первым учеником. Молчаливый юноша, красивый, с выразительным лицом, с вьющимися волосами, он никогда не расходовал даром ни единого часа и ни единого доброго порыва. Он так блестяще шел по биологии и по химии,

что один чикагский хирург обещал ему место в своей клинике. Мартину Ангус Дьюер казался похожим на лезвие бритвы в январское утро; он его ненавидел, чувствовал себя с ним неловко и завидовал ему. Он знал, что Дьюер, занимаясь биологией, был слишком поглощен подготовкой к экзамену, чтобы подумать и составить себе какой-то взгляд на биологию в целом. Он знал, что Дьюер в химии был ловкачом, умел быстро и аккуратно проделывать опыты, какие требуются программой, но никогда не отваживался на самостоятельные эксперименты, которые, уводя в туманную страну неведомого, могли привести к славе или к провалу. Он был уверен, что Дьюер вырабатывал в себе манеру холодной деловитости, потому что она импонирует преподавателям. Однако Ангус Дьюер так резко выделялся среди студенческой массы, где никто не умел ни проводить опытов, ни думать, ни вообще делать что бы то ни было, кроме как пускать дым из трубки и смотреть футбол, что Мартин, ненавидя, любил его и почти безропотно последовал за ним в Дигамму Пи.

Мартин, Айра Хинкли, Ангус Дьюер, Клиф Клосон – присяжный шутник с могучими бицепсами – и некто Пфафф Толстяк вместе проходили обряд посвящения в Дигамму Пи. Это была шумная и довольно мучительная церемония, включавшая нюханье асафетиды⁶. Мартину она показалась скучной, а Пфафф Толстяк визжал, пыхтел и задыхался от ужаса.

Из всех новичков Толстяк был самым полезным кандидатом для Дигаммы Пи. Сама природа предназначила его в козлы отпущения. С виду он напоминал вздувшуюся, наполненную кипятком грелку. Он был великолепно глуп: он верил всему, ничего не знал, ничего не мог запомнить; и он с радостью прощал каждому, кто от нечего делать потешался над ним. Его убеждали, что горчичники превосходное средство от простуды, хлопотали вокруг него, накладывали ему на спину грандиозный горчичник и потом ласково снимали. Завернули как-то ухо, отрезанное у трупа, в его чистенький носовой платок, когда он в воскресенье отправлялся на званый ужин к своей двоюродной сестре в Зенит. За столом он беспечным жестом извлек из кармана платок...

Каждый вечер перед сном Толстяку приходилось удалять из своей кровати целую коллекцию вещей, подсунутых ему в простыни заботливыми товарищами: мыло, будильники, рыбу. Он был идеальным покупателем никому не нужных вещей. Клиф Клосон, всегда умевший соединить свои шутки с коммерческой выгодой, продал Толстяку за четыре доллара «Историю медицины», которую сам купил у букиниста за два, и хотя Толстяк никогда ее не читал, да и не мог бы читать, все же, видя у себя на полке толстую красную книгу, он чувствовал себя образованней. Но истинным благом для Дигаммы была вера Толстяка в спиритизм. Он пребывал в постоянном ужасе перед призраками. Он вечно видел их по вечерам в окнах анатомички. И товарищи принимали меры, чтобы он как можно чаще натыкался на них в коридорах общения.

Дигамма Пи помещалась в здании, построенном в дни бурного роста страны, в 1885 году. Ее гостиная имела такой вид, точно по ней недавно прошел циклон. По комнате разбросаны были истыканные ножами столы, сломанные кресла, рваные ковры, а на них валялись книжки без корешков, башмаки для хоккея, шапки, окурки. Наверху – спальни на четыре человека каждая с железными койками в два яруса, точно в каюте третьего класса.

Вместо пепельниц дигаммовцы пользовались перепиленными черепами, и на стенах в спальнях висели анатомические таблицы, чтобы можно было учить их, пока одеваешься. В комнате Эроусмита стоял целый скелет. Мартин и его сожители доверчиво купили его у коммивояжера зенитской фирмы хирургической аппаратуры. Такой был добродушный и приятный коммивояжер! Он угощал их сигарами, рассказывал анекдоты и распространялся о том,

⁶ Асафетида – смолистое растительное вещество с резким чесночным запахом.

какая их ожидает блестящая врачебная карьера. В благодарность они купили у него в рассрочку скелет... Коммивояжер в дальнейшем оказался не так добродушен.

Мартин делил комнату с Клифом Клосоном, Пфаффом Толстяком и одним серьезно настроенным медиком второго курса Эрвингом Уотерсом.

Если бы психологу понадобился на предмет демонстрирования совершенно нормальный человек, самое лучшее было бы ему пригласить Эрвинга Уотерса. Он был старательно и неизменно туп; туп улыбающейся, легкой и надежной тупостью. Если была в мире штампованная фраза, которой он не повторял, то лишь потому, что ему еще не довелось ее услышать. Он верил в нравственность во все дни – только не в субботу вечером; верил в епископальную церковь – но не в Высокую церковь⁷; верил в конституцию, в дарвинизм, в систематическую гимнастику и в гениальность уиннемакского ректора.

Больше всех Мартин любил Клифа Клосома. Клиф был в общежитии на роли клоуна, он смеялся замогильным смехом, танцевал чечетку, пел бессмысленные песенки и даже играл на корнете, но в общем он был хороший малый и верный товарищ, и Мартин, в своей неприязни к Айре Хинкли, в страхе перед Ангусом Дьюером, в жалости к Пфаффу Толстяку, в омерзении перед приветливой тупостью Эрвинга Уотерса, обратился к шумному Клифу, как к чему-то живому и ищущему. В Клифе по крайней мере чувствовалась реальность: реальность вспаханного поля, дымящегося навоза. С Клифом можно было побоксировать; Клифа – хоть он и любил просиживать часами, попыхивая трубкой и мурлыча под нос в царственном безделье, – все же можно было вытащить на пятимильную прогулку.

И кто, как не Клиф, с опасностью для жизни швырял за ужином в преподобного Айру Хинкли печеной фасолью, когда Айра угнетал их своими тяжеловесными и слащавыми наставлениями?

В анатомичке Айра изрядно докучал им, высмеивая те идеи Мартина, которые не были приняты в Поттсбургском христианском колледже, но в общежитии он был поистине нравственным бичом. Он упорно пытался отучить их ругаться. Пробыв три года членом захолустной футбольной команды, Айра в своем невозмутимом оптимизме все еще верил, что можно сделать молодых людей безгрешными, читая им назидания с ужимками учительницы воскресной школы и с деликатностью боевого слона.

Айра к тому же располагал статистическими данными о чистом образе жизни.

Он был начинен статистикой. Ему было все равно, откуда черпать цифры: из газет ли, из отчетов ли о переписи, или из колонок в «Юном миссионере», – все они были для него равноценны.

– Клиф, – провозгласил он как-то за ужином, – я удивляюсь, что такой, как ты, хороший парень не бросит сосать эту пакостную трубку. Знаешь ли ты, что у шестидесяти семи и девяти десятых процента женщин, попадающих на операционный стол, мужа курят табак?

– А что им, черт подери, курить, если не табак? – спросил Клиф.

– Откуда ты взял эти цифры? – вставил Мартин.

– Они установлены медицинской конференцией в Филадельфии в тысяча девятьсот втором году, – снисходительно ответил Айра. – Я, конечно, не жду, чтобы такие, как вы, надменные умники задумались о том, что в один прекрасный день вам захочется жениться на милой, прелестной женщине и вы загубите ее жизнь своими пороками. Что ж, стойте на своем – вы, свора здоровенных храбрецов! А бедный слабосильный проповедник вроде меня никогда не отважится курить трубку!

Он с победоносным видом удалился, и Мартин простонал:

– Из-за Айры мне хочется иногда бросить медицину и стать честным шорником.

⁷ Высокая церковь – ветвь англиканской церкви, придающая большое значение обрядам и престижу духовенства.

– Ах, Март, оставь, – сетовал Пфафф Толстяк. – И чего ты изводишь Айру? Ведь он же с самыми добрыми намерениями.

– Добрыми? К черту! У таракана тоже добрые намерения!

Так они болтали, между тем как Ангус Дьюер наблюдал за ними в высокомерном молчании; и это нервировало Мартина. Накапливая знания для профессии, к которой он всю жизнь стремился, он рядом с ясной мудростью находил злобу и пустоту; он не видел единой прямой дороги к истине, а видел тысячу дорог к тысяче истин, далеких и сомнительных.

Глава 3

Джон О. Робертшо – Джон Олдингтон Робертшо – профессор физиологии на медицинском факультете, был глуховат, и на весь Уиннемакский университет он был единственным преподавателем, еще носившим бакены «отбивной котлеткой». Родом он был из Бэк-Бэй⁸; он гордился этим, всегда об этом напоминал. С тремя другими браминами он образовал в Мога-лисе бостонскую колонию, в которой ценилась грубоватая ласковость обращения и скромно затененный свет. При каждом удобном случае он говорил: «Когда я учился у Людвига⁹ в Германии...» Он был слишком поглощен собственным совершенством, чтоб замечать отдельных студентов, и Клиф Клосон, а также другие молодые люди, известные под названием «дебоширов», с нетерпением ждали лекций по физиологии.

Лекции происходили в круглой аудитории; скамьи студентов шли амфитеатром, так круто изогнутым, что лектор не мог видеть одновременно оба его конца, и когда доктор Робертшо, не переставая жужжать о кровообращении, глядел направо и высматривал, кто производит оскорбительный звук, напоминающий автомобильный гудок, – вдалеке, на левом крыле, Клиф Клосон вставал и передразнивал его, пиля рукою воздух и поглаживая воображаемые бакены. Однажды Клиф побил все рекорды, бросив кирпич в раковину за кафедрой в ту самую минуту, когда доктор Робертшо подошел к кульминационному пункту своего курса – влиянию духовой музыки на интенсивность коленного рефлекса.

Мартин читал научные статьи Макса Готлиба – те из них, какие не слишком его смущали дебрями математических символов, – и это чтение приучило его к мысли, что опыты должны затрагивать самые основы жизни и смерти, природу бактериальной инфекции, химию органических процессов. Когда Робертшо чирикал воробышком о суетливых маленьких опытах, трафаретных опытах, стародавних опытах, Мартину не сиделось на месте. В колледже ему казалось, что законы скандирования и латинские сочинения – никчемное дело, и он, как откровения, ждал занятий по медицине. Теперь же, сокрушаясь о собственном неразумии, он ловил себя на том, что начинает так же презирать доморощенные «законы» Робертшо и чуть ли не всю университетскую анатомию.

Профессор анатомии, доктор Оливер О. Стаут, был сам ходячая анатомия, таблица из атласа, покрытое тонким покровом сплетение нервов, костей и кровеносных сосудов. Стаут обладал громадными и точными знаниями; когда он, бывало, сухим своим голосом начинал выкладывать факты о мизинце на левой ноге, оставалось только дивиться, кому нужно столько знать о мизинце на левой ноге.

Ни один вопрос не вызывал таких горячих и неиссякаемых прений за ужином в Дигамме Пи, как вопрос о том, стоит ли врачу запоминать анатомические термины – обыкновенному врачу, который ищет приличного заработка и не стремится читать доклады в медицинских ассоциациях. Но как бы они на это ни смотрели, все они упорно зубрили столбцы названий, дающих студенту возможность переползти через экзамены и стать образованным человеком, чье время расценивается на рынке в пять долларов час. Неведомые мудрецы изобрели стишки, облегчающие запоминание. Вечером, когда тридцать головорезов-дигаммовцев сидели за длинным и грязным столом, уничтожая судак-кокиль и фасоль, и фрикадельки из трески, и слоеный пирог с бананами, новички серьезно повторяли за старшим товарищем:

Об орясину осел
Топорище точит,

⁸ Бэк-Бэй – аристократический квартал Бостона.

⁹ Людвиг Карл Фридрих Вильгельм (1816–1895) – немецкий физиолог.

А факир, созвав гостей,
Быть акулой хочет.

Так, по ассоциации с начальными буквами они запоминали латинские названия двенадцати пар черепно-мозговых нервов: ольфакториус, оптикус, окуломоториус, троклеарис и все остальные. Для дигаммовцев это была высочайшая в мире поэзия, и мнемоническое двустипшие они помнили долгие годы, когда уже стали практикующими врачами и давно забывали названия нервов.

На лекциях доктора Стаута беспорядков не чинилось, зато у него в анатомичке студенты любили позабавиться. Самой невинной их шуткой было – засунуть хлопушку в труп, над которым работали две девственные и несчастные студентки. Настоящую же бурю на первом курсе вызвал случай с Клифом Клосоном и поджелудочной железой.

Клифа на этот год избрали старостой за его изобретательность в приветствиях. Встречаясь с товарищем в раздевалке главного медицинского корпуса, он непременно провозглашал: «Как у вас функционирует сегодня червеобразный отросток слепой кишки?» или «Привет вам, о кормильцы вшей!» Придирчиво и церемонно вел он студенческие собрания (бурные собрания, на которых торжественно отклонялось предложение разрешить студентам сельскохозяйственного факультета пользоваться теннисными кортами на северной стороне), но в частной жизни он не так церемонился.

Гроза разразилась, когда по медицинскому городку водили совет попечителей. Попечители являли собой верховную власть университета; это были банкиры, и фабриканты, и пасторы больших церквей; перед ними даже ректор заискивал. Самый трепетный интерес внушала им секционная медицинского факультета. Проповедники разводили мораль о влиянии алкоголя на бедняков, а банкиры – о неуважении к текущим счетам, всегда наблюдаемом у людей, которые упорствуют в желании обратиться в труп. Во время осмотра, руководимого доктором Стаутом и секретарем, несшим чей-то зонтик, самый толстый и самый науколюбивый банкир остановился перед столом Клифа Клосона, почтительно держа за спиной свой котелок. В этот-то котелок и подбросил Клиф поджелудочную железу.

Поджелудочная железа – противная скользкая штука, обнаружить ее в новой шляпе едва ли приятно; и когда банкир ее обнаружил, он швырнул котелок на пол и сказал, что студенты Уиннемака вконец развратились. Доктор Стаут и секретарь стали его утешать; они почистили котелок и заверили банкира, что человек, посмеявшийся положить поджелудочную железу в банкирскую шляпу, понесет наказание.

Доктор Стаут вызвал Клифа, как старосту первого курса. Клиф был глубоко огорчен. Он собрал своих студентов, он сокрушался, как мог кто-либо в Уиннемаке положить в банкирскую шляпу поджелудочную железу, он требовал, чтобы виновный нашел в себе мужество встать и сознаться.

К несчастью, преподобный Айра Хинкли, сидевший между Мартином и Ангусом Дьюером, видел, как Клиф бросил в шляпу железу.

– Это возмутительно, – заворчал он. – Я выведу Клосона на чистую воду, будь он мне трижды брат по Дигамме!

– Брось, – возражал Мартин. – Или ты хочешь, чтоб его выставили?

– Пусть выставят! Он заслужил!

Ангус Дьюер повернулся на своем стуле, смерил Айру взглядом и проговорил:

– Не угодно ли вам придержать язык?

Айра послушно умолк, и Мартин исполнился еще большим уважением к Ангусу и еще большей неприязнью.

Когда Мартина угнетало недоумение, зачем он здесь, зачем слушает какого-то профессора Робертшо, долбит стишки об ослах и факирах, учится ремеслу врача, как Пфафф Толстяк и Эрвинг Уотерс, тогда он искал облегчения в том, что называл «развратом». Фактически разврат был самый скромный; обычно все сводилось к лишней кружке пива в соседнем городе Зените да к перемигиванью с фабричной работницей, фланирующей по неприглядным улицам окраин. Но Мартину, гордому своей нерастраченной энергией и ясным рассудком, эти похождения казались потом трагическими.

Самым верным его сподвижником был Клиф Клосон. Клиф, сколько бы он ни выпил дешевого пива, никогда не бывал намного пьянее, чем в своем нормальном состоянии. Мартин опускался или возвышался до Клифова буйства, тогда как Клиф возвышался или опускался до рассудительности Мартина. Когда они сидели в кабачке за столом, сверкавшим мокрыми следами от пивных кружек, Клиф поднимал палец и бормотал:

– Ты один меня понимаешь. Март. Ты ведь знаешь, несмотря на дебоширство и на все мои разговоры о том, что надо быть практичным, которыми я дразню этих доктринеров, вроде Айры Свинкли, меня так же воротит от их меркантильности и от всей их болтологии, как и тебя.

– Еще бы! – соглашался Мартин с пьяной нежностью. – Ты совсем, как я. Боже, как можно их терпеть: такой вот бездарный Эрвинг Уотерс или бездушный карьерист вроде Ангуса Дьюера – и рядом старый Готлиб! Идеал исследователя! Он никогда не довольствуется тем, что кажется правильным! Плюет на черта и дьявола, работает ночь напролет, одинокий и честный, как капитан на мостике, добирается до корня вещей!

– Сущая правда! И я так думаю, – заявил Клиф. – Еще по кружке, а? Платить будем по жребии.

Зенит со своими кабаками лежал в пятнадцати милях от Могалиса и Уиннемакского университета; полчаса на огромном, громыхающем, стальном междугородном трамвае – и они в Зените, где студенту-медику можно покутить. Сказать «я ездил вчера в город» – значило вызвать усмешку и прищуренный взгляд. Ангус Дьюер открыл Мартину новый Зенит.

За ужином Дьюер коротко сказал:

– Поедем со мною в город, послушаем концерт.

При всем своем воображаемом превосходстве над товарищами Мартин отличался безграничным невежеством в литературе, живописи, музыке. Его поразило, что бескровный стяжатель Ангус Дьюер, не жалея времени, готов слушать каких-то скрипачей. Он открыл, что Дьюер горел восторгом перед двумя композиторами: некими Бахом и Бетховеном – по-видимому, немцами, и что сам он, Мартин Эроусмит, постиг еще не все на свете. В трамвае Дьюер отбросил свою обычную чопорность и заявил:

– Эх, брат, если б я не был рожден копаться в кишках, я стал бы великим музыкантом. Сегодня я поведу тебя прямо в рай!

Мартин попал в сумятицу маленьких кресел и широких золоченых сводов, вежливых, но глядевших неодобрительно дам с программами на коленях, неромантичных музыкантов, производивших внизу неприятный шум, и, наконец, непостижимой красоты, которая развернула перед ним картины гор и густых лесов, а потом сменилась вдруг мучительной скукой. «У меня будет все, – ликовал он. – Слава Макса Готлиба... то есть его дарование... и прелестная музыка, и прелестные женщины... Черт возьми! Я сделаю великие открытия! Увижу мир... Неужто эта канитель никогда не кончится?»

А через неделю после концерта он вновь открыл Маделину Фокс.

Маделина была красивая девушка, с живыми красками, с живым умом, весьма самоуверенная; Мартин познакомился с ней еще в колледже. Она осталась в Могалисе якобы для того, чтобы прослушать при университете курс английской словесности, а на деле, чтоб не возвра-

щаться домой. Она считала себя блестящей теннисисткой: играла хлестко и фасонно, но не слишком метко. Мнила себя знатоком в литературе: счастливыми, удостоившимися ее одобрения, были Гарди¹⁰, Мередит¹¹, Хоуэлс¹² и Теккерей¹³, хоть она уже пять лет никого из них не читала. Она часто корила Мартина за то, что он не ценит Хоуэлса, носит фланелевые рубашки и постоянно забывает подать ей руку, когда она выходит из трамвая, чего не упустил бы ни один герой романа. В колледже они вместе ходили на балы, хотя в танцах Мартин проявлял больше вдохновения, чем умения, и его дамам иногда нелегко бывало разобраться, какой танец он пытается изобразить. Ему нравилась в Маделине ее статная красота и сила; ему казалось, что она со своей энергией и культурностью была бы ему «под стать». Но за последний год он с нею почти не виделся. Вечерами он думал о ней, решал позвонить ей и не звонил. Но когда его одолевали сомнения в медицине, он начинал тосковать по ее сочувствию и как-то весной в воскресенье пригласил ее прогуляться по берегу Чалусы.

От отвесных берегов реки волнами бесчисленных холмов разбегалась прерия. В широких ячменных полях, в косматых пастбищах, чахлах дубках и нарядных березах дышала пограничная тяга к приключениям, и, как все юные дети равнины, Мартин с Маделиной шли над рекой и поверяли друг другу, что завоюют мир.

Мартин жаловался:

– Эти треклятые медики...

– Ах, Мартин, неужели вы считаете «треклятые» приличным словом? – перебивала Маделина.

По совести, он считал «треклятые» вполне приличным словом, действительно необходимым в языке занятого человека, но ее улыбка была желанна.

– Хорошо, не буду. У наших противных студизусов нет стремления к науке; они просто учатся ремеслу. Хотят получить знания, чтобы потом обратить их в деньги. Они заботятся не о спасении жизней, а о том, как бы не «угробить пациента» – не потерять свои доллары. И они даже не прочь угробить пациента, если дело пахнет сенсационной операцией, которая составит им рекламу! Меня тошнит от них! Думаете, они интересуются работой, которую ведет в Германии Эрлих или тот же Готлиб, тут, у нас на глазах? Готлиб только что стер в порошок Райта с его теорией опсонинов.

– В самом деле?

– Будьте уверены! Но вы думаете, это наших медиков хоть сколько-нибудь взволновало? Ничуть! «О, конечно, – говорят они, – наука делает свое дело, она помогает врачу лечить больных...» – и пускаются в спор о том, где можно больше заработать денег – в крупном центре или в захолустном городке, и что лучше начинающему доку – прикидываться добряком да стрелять уток или, наоборот, ходить в церковь и напускать на себя важность. Послушали б вы Эрва Уотерса! Он носится с такою мыслью: «Что нужно врачу для успеха? Основательное знание патологии? Ничуть не бывало! Успехом пользуется тот, у кого кабинет в хорошем районе, поближе к трамваю, и легко запоминающийся номер телефона!» Право! Так прямо и говорит! Честное слово, когда я получу диплом, я лучше пойду врачом на пароход, повидать свет. И не придется, по крайней мере, рыскать по всему судну, отбивая больных у врача-конкурента, открывшего кабинет на другой палубе!

– Да, я вас понимаю. Это ужасно, когда люди не стремятся в своей работе к идеалу. Очень многие студенты у нас, на отделении английской литературы, просто рассчитывают зарабатывать деньги преподаванием, они не наслаждаются научной работой, как я.

¹⁰ Гарди, Томас (1840–1920) – английский писатель и поэт.

¹¹ Мередит, Джордж (1828–1909) – английский поэт и прозаик.

¹² Хоуэлс, Уильям Дин (1837–1920) – американский романист и критик.

¹³ Теккерей, Уильям (1811–1863) – английский писатель, автор романа «Ярмарка тщеславия».

Мартина смутило, что и она, подобно ему, считает себя человеком высшего порядка, но еще больше смутился он, когда она заворковала:

– В то же время, Мартин, надо быть и практичным. Не правда ли? Подумайте, насколько больше денег... то есть уважения в обществе и возможности делать добро у видного врача, чем у кабинетного ученого, который корпит над какой-нибудь мелочью и не знает, что творится на свете. Взять хотя бы нашего хирурга, доктора Луазо, как он подкатывает к больнице в чудесной машине с шофером в ливрее, – все пациенты просто обожают его, – и сравнить его с вашим Максом Готлибом! Мне недавно показали Готлиба на улице. На нем был ужасный старый костюм, и я определенно подумала, что ему бы не вредно заглянуть в парикмахерскую.

Мартин обрушился на нее статистикой, упреками, бешенством, фанатическим пылом и путаными метафорами. Они сидели на покосившейся старозаветной изгороди, где над яркими пронизанными солнцем листьями подорожника жужжали первые весенние насекомые. Захваченная его фанатизмом, Маделина отбросила всю свою «культурность» и защебетала:

– Да-да, я понимаю, – не говоря, что именно она понимает. – О, у вас такой тонкий склад ума и такая тонкая... такая подлинная цельность!

– Правда? Вы так считаете?

– О, конечно, и я уверена, что вас ждет чудесное будущее. И я так рада, что вы не торгош, как другие. Вы их не слушайте, пусть их говорят!

Он увидел теперь, что Маделина не только на редкость чуткий и понимающий человек, но и в высшей степени желанная женщина: свежий румянец, нежные глаза, прелестная округло-изогнутая линия от плеча к бедру. На обратном пути он все больше убеждался, что Маделина для него необычайно подходящая пара. Под его руководством она научится понимать различие между туманными «идеалами» и суровой достоверностью науки. Они сделали привал над обрывом и глядели вниз на мутную Чалусу, по-весеннему бурную, с плывущими по воде ветками. Его безудержно тянуло к Маделине; он сожалел о своих случайных студенческих похождениях и решил быть чистым и чрезвычайно прилежным молодым человеком, чтобы стать «достойным ее».

– О Маделина, – сказал он печально, – до чего вы, черт возьми, красивы!

Она боязливо на него посмотрела.

Он схватил ее за руку; в отчаянном порыве попробовал поцеловать. Это вышло у него очень неискусно. Ему удалось только поцеловать краешек ее подбородка, а она отбивалась и просила:

– Ах, не надо!

Направляясь домой, в Могалис, они делали вид, что ничего не случилось, но голоса их стали нежней, и уже без нетерпения она слушала, как он обзывает профессора Робертшо фонографом, а Мартин внимал ее замечаниям о том, как плосок и вульгарен доктор Норман Брамфит, неунывающий преподаватель английской словесности. У подъезда своего пансиона она вздохнула:

– Я предложила бы вам зайти, но скоро ужин, а... Вы, может быть, позвоните мне на этих днях?

– Будь я проклят, если не позвоню! – ответил Мартин по всем правилам университетского любовного диалога.

Он мчался домой, полный обожания. В полночь, лежа на узкой верхней койке, он чувствовал на себе взгляд Маделины, то дерзкий, то укоризненный, то согретый верой в него. «Я ее люблю! Я люблю ее! Позвоню ей по телефону... Не рано будет позвонить ей в восемь утра?»

Но в восемь утра он был так занят изучением слезного аппарата, что и думать позабыл о девичьих глазках. Он увиделся с Маделиной еще только раз, да и то на людях, на веранде ее пансиона, заполненной студентками, красными подушками и вазочками с пастилой, а потом ушел с головой в лихорадочную подготовку к переходным экзаменам.

Во время экзаменов члены Дигаммы Пи показали себя рьяными искателями мудрости. Дигаммовцы из поколения в поколение собирали экзаменационные работы и сохраняли их в священной книге «Зачетник»; гении точности проработали этот том и отметили красным карандашом вопросы, которые чаще всего задавали на экзаменах за истекшие годы. Первокурсники собирались тесным кругом посреди дигаммовской гостиной, а в центре круга становился Айра Хинкли и вычитывал наиболее вероятные вопросы. Студенты корчились, драли на себе волосы, скребли подбородки, кусали пальцы и хлопали себя по лбу, силясь дать правильный ответ прежде, чем Ангус Дьюер прочтет его вслух по учебнику.

В самую страду им еще приходилось мучиться с Пфаффом Толстяком.

Толстяк провалился среди года по анатомии, так что к весеннему экзамену его могли допустить только по сдаче дополнительного зачета. Дигаммовцы по-своему любили его; Пфафф был мягкотел, Пфафф был суеверен, Пфафф был глуп, но товарищи питали к нему какую-то досадливую нежность, какую могли бы они питать к подержанному автомобилю или приبلудной собаке. Они трудились над ним все до одного; они старались поднять его и пропихнуть через экзамен, как в люк. Они пыхтели, и ворчали, и стонали за этой тяжелой работой, и Пфафф пыхтел и стонал вместе с ними.

В ночь перед зачетом они его продержали до двух часов – с помощью мокрых полотенец и черного кофе, молитв и ругани. Вдалбливали в него перечни, перечни; подносили кулаки к его круглому красному унылому лицу и орали:

– Черт подери, запомнишь ты, наконец? Двустворчатый, *или митральный* клапан, а не *и митральный*! Пойми, это один и тот же.

Бегали по комнате, воздев руки и вопя: «Неужто он никогда ничего не запомнит!» – и опять принимались мурлыкать с притворным спокойствием:

– Не надо волноваться, Пфаффик. Давай полегоньку. Ты только слушай внимательно – хорошо? – и постарайся... – И вкрадчиво: – *Постарайся* запомнить хоть что-нибудь!

Его заботливо уложили в кровать. Он был так начинен сведениями, что от малейшего толчка они могли расплескаться.

Когда в семь часов он проснулся, с красными глазами, дрожащим ртом, оказалось, он забыл все, что в него вдолбили.

– Ничего не поделаешь, – сказал председатель Дигаммы Пи. – Придется пойти на риск и дать ему шпаргалку – авось не попадетсЯ. Я так и думал и вчера еще приготовил для него штучку. Чудная шпаргалочка. Ответы на все главные вопросы. С ней он как-нибудь проскочит.

Даже преподобный Айра Хинкли, насмотревшись ужасов минувшей ночи, счел возможным закрыть глаза на преступление. С протестом выступил сам Толстяк:

– Ни-ни! Я не желаю жульничать. По-моему, если человек не может сдать экзамен, то его нельзя допустить к врачебной практике. Так говорил мой папа.

В него влили еще кофе и по совету Клифа Клосона, который не знал, какой это дает эффект, но был не прочь поэкспериментировать, скормили ему таблетку бромистого калия. Председатель Дигаммы Пи твердо положил руку на плечо Толстяку и прорычал:

– Я кладу шпаргалку тебе в карман – смотри: вот в этот нагрудный карман, за носовой платок.

– Я ею не воспользуюсь. Провалюсь так провалюсь – все равно, – хныкал Толстяк.

– Вот и хорошо! Но шпаргалку не выбрасывай. Может быть, ты из нее вберешь немного знаний через легкие, ибо, видит бог... – Председатель схватился за волосы. Голос его загудел громче, выразив всю трагедию бессонных ночей, александрийского листа и безнадежных отступлений. – Видит бог, через мозг ты их впитать не можешь!

Они смахнули с Пфаффа пыль, поставили его вверх головой и вытолкнули за дверь, в путь к анатомическому корпусу. Они следили, как он удаляется: воздушный шар на ножках, колбаса в плисовых штанах.

– Неужели не сжульничает? – подивился Клиф Клосон.

– Ну, если так, то нам впору идти наверх и укладывать его чемодан. И никогда у нашей старой доброй Дигаммы не будет другого такого козла отпущения! – сокрушался председатель.

Они увидели, что Пфафф остановился, вынул платок, грустно высморкался... и обнаружил длинную узкую бумажку. Увидели, как он нахмурился, зажал ее между пальцами, начал читать, сунул назад в карман и пошел дальше более твердым шагом.

Дигаммовцы взяли за руки и пустились в пляс по гостинной общежития, проникновенно уверяя друг друга:

– Воспользуется... Все в порядке... Сдаст, ей-богу сдаст!

Зачет он сдал.

Беспокойные сомнения Мартина больше докучали Дигамме Пи, чем тупость Толстяка, буйство Клифа Клосона, заносчивость Ангуса Дьюера или вьедливость преподобного Айры Хинкли.

В разгар напряженной подготовки к экзаменам Мартин всех донимал тем, что они-де «надевают на себя первоклассную медицинскую терминологию, как накрахмаленный халат, не для пользы больных, а для пушей важности». Дигаммовцы все, как один, заявляли:

– Слушай, если тебе не нравится, как мы учим медицину, мы охотно проведем складчину и отправим тебя назад в Элк-Милз, где тебя не будут беспокоить такие, как мы, необразованные торгаши. Право! Мы тебе не указываем, как ты должен работать. С чего ж ты вздумал указывать нам? Брось, голубчик!

Ангус Дьюер с кисло-сладкой улыбкой заметил:

– Мы согласны, что мы простые ремесленники, а ты – великий исследователь. Но есть много вещей, к которым ты мог бы обратиться, когда совладаешь с точной наукой. Что ты смыслишь в архитектуре? Как у тебя с французскими глаголами? Сколько ты прочитал толстых романов за всю свою жизнь? Кто сейчас премьером в Австро-Венгрии?

– Я вовсе не претендую на какие-то знания, – защищался Мартин, – но я отдаю должное Максу Готлибу. У него правильный метод, а остальные профессора – они все просто знахари. Ты сейчас заявишь, Хинкли, что Готлиб неверующий. Да, но когда он ночи напролет просиживает в лаборатории, – разве это не та же молитва? Неужели вы, ослы, не сознаете, что это значит, когда здесь, рядом с вами, человек создает новое мировоззрение? Неужели...

Клиф Клосон, зевая до судороги, заметил:

– Молитва в лаборатории! Куда хватил! Когда я пойду на бактериологию, папаша Готлиб спустит с меня штаны, если поймает на молитве во время опыта!

– Да вы не слушаете, черт возьми! – взывал Мартин. – Я вам говорю, что для вас, ребята, медицина – это только искусство ставить наугад диагноз, тогда как рядом с вами человек...

Так, назубрившись до седьмого пота, они проводили в спорах целые часы.

Когда другие ложились спать, когда комнату сплошь заполнял грязный ворох сброшенной одежды и храп усталых молодых людей на железных койках, Мартин сидел за длинным некрашеным шершавым столом и терзался. Ангус Дьюер тихонько входил, заговаривал:

– Знаешь, старик, всем нам до тошноты надоели твои выпады. Если, по-твоему, медицина, как мы ее изучаем, вздор и если ты так чертовски честен, почему же ты не уходишь из университета?

Он оставлял Мартина в мучительных сомнениях: «Ангус прав. Я должен молчать или уйти. Так ли я убежден в том, что говорю? Чего я хочу? Как же мне поступить?»

Прилежного, неизменно корректного Ангуса Дьюера равно оскорбляли непристойные песенки Клифа, крикливый говор Клифа, пристрастие Клифа бросать товарищам в суп всякую всячину и прискорбная неспособность Клифа регулярно мыть руки. При всей своей видимой выдержке Дьюер в экзаменационную страду нервничал не хуже Мартина, и как-то вечером, за ужином, когда Клиф разбушевался, Дьюер его одернул:

– Не будете ли вы столь любезны производить поменьше трескотни?

– Я, черт возьми, буду производить ровно столько трескотни, сколько мне, черт возьми, захочется, – заявил Клиф, и война началась.

Клиф стал с этого вечера так шумен, что, кажется, сам уставал от своего шума. Он шумел в столовой, шумел в ванной и самоотверженно не спал, притворяясь, что храпит. Дьюер сохранял спокойствие и не отрывался от книг, но отнюдь не потому, что был запуган: он мерил Клифа начальническим взглядом, от которого тому становилось не по себе. Наедине Клиф жаловался Мартину:

– Черт его подери, смотрит на меня, как на червя. Он или я – один из нас должен уйти из Дигаммы, и уйдет, как пить дать... Но я не уйду.

Он бесился и шумел, как никогда, и ушел все-таки сам. Он уверял, что «дигаммовцы – банда лоботрясов; с ними и в покер-то прилично не сыграешь», но на деле он бежал от жесткого взгляда Ангуса Дьюера. Вместе с Клифом вышел из Дигаммы и Мартин, уговорившись, что с осени они сообща снимут комнату.

Мартину не меньше, чем Дьюеру, надоела шумливость Клифа. Клиф не умел помолчать; когда он не рассказывал скользких анекдотов, он спрашивал: «Сколько ты заплатил за эти ботинки, ты, может быть, Вандербильд?» или «Я видел, ты гулял с этой мамзелью, Маделиной Фокс, – куда ты, собственно, гнешь?» Но Мартин чувствовал себя чужим среди воспитанных, старательных, приятных молодых людей из Дигаммы Пи, чьи лица уже говорили: рецепты, накрахмаленный белый халат, модный закрытый автомобиль и приличная вывеска у подъезда, золотом по стеклу. Он предпочитал одиночество варвара, – с будущего года он начнет работать у Макса Готлиба, надо уйти подальше от всяких помех.

Лето он провел с бригадой монтеров, устанавливавшей телефоны в Монтане.

Работал он линейным монтером, влезал на столб, вонзаясь остриями своих стальных кошек в мягкую и серебристую древесину сосны, втягивал наверх проволоку, наматывал ее на стеклянные изоляторы, спускался, влезал на следующий столб.

За день они делали до пяти миль; ночевали в убогих деревянных городках. Устраивались по-походному: снимали башмаки и заворачивались в попону. Мартин носил рабочий комбинезон и фланелевую рубаху. У него был вид батрака. Лагая с утра до вечера по столбам, он дышал полной грудью, в глазах уже не отражалось беспокойство, а однажды он пережил чудо.

Он сидел на верхушке столба и вдруг, по неведомой причине, глаза его раскрылись, и он прозрел: как будто только что проснувшись, он увидел, что степь широка, что солнце ласково глядит на косматые пастбища и зреющую пшеницу, на старых лошадей, послушных, коренастых, добродушных лошадей, и на его краснолицых веселых товарищей; он увидел, что ликует луговые жаворонки, и черные дрозды прихорашиваются у лужиц, и что под живительным солнцем оживает вся жизнь. Пусть Ангусы Дьюеры и Эрвинги Уотерсы – прижимистые торговцы. Что из того? «Я здесь!» – захлебывался он.

Его товарищи, монтеры, были здоровые и простые, как западный ветер; они не задавались и не важничали; хотя им приходилось иметь дело с электрическим оборудованием, они не заучивали, как медики, тьму научных терминов и не щеголяли перед фермерами своей ученостью. Они легко смеялись и радостно были самими собою, и с ними Мартин был рад забыть, какой он необыкновенный. Он полюбил их, как не любил никого в университете, кроме Макса Готлиба.

В заплечном мешке он носил с собою только одну книгу – «Иммунологию» Готлиба. Часто ему удавалось одолеть полстраницы, не увязнув в химических формулах. Иногда по воскресеньям и в дождливые дни он пробовал читать ее и грезил о лаборатории; а иногда он думал о Маделине Фокс и приходил к убеждению, что смертельно по ней стосковался. Но беззаботные трудовые недели незаметно сменяли одна другую, и когда он просыпался в конюшне, в крепком запахе духовитого сена, и лошадей, и прерии, оглашенной звоном жаворонков, подбравшейся к самому сердцу этих бревенчатых городков, он думал только о работе, которая его ждет, о милях, которые нужно отшагать на запад, туда, где заходит солнце.

Так они шли растянутой цепью по пшеничной Монтане, по целым княжествам сплошного сверкающего пшеничного поля, по широким пастбищам и по чернобылью пустыни, и вдруг, засмотревшись на упорно не сдвигавшееся с места облако, Мартин понял, что видит горы.

Потом он сидел в поезде; бригада была забыта; он думал только о Маделине Фокс, о Клифе Клосоне, Ангусе Дьюере и о Максе Готлибе.

Глава 4

Профессор Готлиб готовился убить морскую свинку бациллами сибирской язвы, и студенты на лабораторных занятиях по бактериологии были взволнованы.

До сих пор они изучали морфологию бактерий, учились обращаться с чашками Петри и с петлей из платиновой проволоки, гордо выращивали на картофельных срезах безобидные красные культуры *Bacilli prodigiosi*; но теперь они приступили к патогенным микробам и к заражению животного скоротечной болезнью. Эти две морские свинки, что, сверкая бусинками глазок, копошатся в большой стеклянной банке, через два дня будут неподвижны и мертвы.

Мартин испытывал возбуждение, не чуждое тревоге. Он смеялся над собою, вспоминал с профессиональным презрением, как глупо ведут себя в лаборатории профаны-посетители, убежденные, что кровожадные микробы того и гляди прыгнут на них из таинственной центрифуги, со столов, из самого воздуха. Но он ни на миг не забывал, что в заткнутой ватой пробирке между кюветой для инструментов и бутылкой с сулемой на столе у демонстратора заключены миллионы смертоносных сибиреязвенных палочек.

Студенты смотрели почтительно и не подходили слишком близко. С тем чутьем, которое дает превосходная техника, с уверенной быстротой, отличавшей малейшее движение его рук, доктор Готлиб выстриг шерсть на брюшке морской свинки, придерживаемой ассистентом. Одним взмахом кисточки он намылил брюшко, побрил его и смазал йодом.

(И все это время Макс Готлиб вспоминал, как жадно слушали первые его студенты, когда он только что вернулся в Штаты после работы у Коха¹⁴ и Пастера¹⁵, только что оторвался от громадных кружек пива и корпорантов, и свирепых споров. Чудесные страстные дни! *Die goldene Zeit*¹⁶. Его первые слушатели в Америке, в колледже Квин-Сити, благоговели перед сенсационными открытиями бактериологии; они почтительно теснились вокруг него; они жаждали знаний. Теперь слушатели были стадом. Он смотрел на них: Пфафф Толстяк в переднем ряду, лицо невыразительное, как ручка двери; у студентов вид взволнованный и испуганный; только Мартин Эроусмит и Ангус Дьюер как будто что-то понимают. Память потянулась к бледно-голубым сумеркам в Мюнхене: мост, и девушка ждет на мосту, и доносится музыка.)

Он окунул руки в раствор сулемы и встряхнул ими: быстрый взмах пальцами вниз – как пианист над клавишами. Взял из кюветы иглу для шприца и поднял пробирку. Голос его лениво струился немецкими гласными и приглушенным «в».

– Это, господа, есть суточная культура *Bacilli anthracis*. Вы заметите – уже, я уверен, заметили, – что на дно стаканчика положена вата, дабы пробирка не разбилась. Не советую разбивать пробирку с *Bacillis anthracis* и затем попадать рукой в культуру. У вас после этого появится сибиреязвенный карбункул.

Аудитория содрогнулась.

Готлиб извлек мизинцем ватную пробку так изящно, что медики, любившие пожаловаться: «бактериология – ненужный хлам: анализ мочи и крови – вот и все, что нам нужно освоить из лабораторной премудрости», – эти медики воздали ему теперь некоторую дань уважения, какое внушал бы им человек, умеющий показывать фокусы на картах или в семь минут удалять аппендикс. Затем он повертел отверстие пробирки над бунзеновской горелкой, бубня:

– Каждый раз, когда вынимаете из пробирки пробку, обжигайте горлышко. Возьмите это за правило. Это – техническая необходимость, а техника, господа, есть начало всякой науки. И ею в науке пренебрегают больше всего.

¹⁴ Кох, Роберт (1843–1910) – знаменитый немецкий бактериолог; открыл бациллу туберкулеза.

¹⁵ Пастер, Луи (1822–1895) – французский микробиолог и химик. Основоположник микробиологии.

¹⁶ Золотое время (нем.).

Аудитория выражала нетерпение. Чего он копается, не приступает к захватывающему, страшному моменту введения инфекции?

(А Макс Готлиб, поглядывая на другую свинку, в ее стеклянной тюрьме, размышлял: «Бедная безвинная тварь! Зачем я должен убивать ее, чтоб учить разных Dummköpfe!¹⁷ Лучше было бы провести опыт на этом жирном юнце».)

Он сунул в пробирку иглу, ловко вытянул указательным пальцем поршень и продолжал: – Возьмите пол к.с. культуры. Есть два рода Д.М. – те, для кого «к.с.» значит «кубический сантиметр», и те, для кого это значит «катартик сложный»¹⁸. Вторые больше преуспевают в жизни.

(Но невозможно передать, как это было сказано: легкая протяжность гласных, сардоническая любезность, шипение этих «С», превращение «Д» в тупое и вызывающее «Т».)

Ассистент крепко держал свинку; Готлиб оттянул кожу на брюшке и быстрым прямым уколом ввел иглу. Свинка чуть дернулась, чуть пискнула, студентки в ужасе отшатнулись. Мудрые пальцы Готлиба знали, когда игла достигла брюшины. Он нажал на поршень и давил, пока поршень весь не вошел в шприц. Сказал спокойно:

– Эта бедная свинка скоро будет мертва, как пророк Моисей.

Слушатели смущенно переглядывались.

– Иные из вас подумают, что это не беда; иные вместе с Бернардом Шоу подумают, что я палач, и палач тем более чудовищный, что я при этом хладнокровен; а другие вовсе ничего не подумают. Эти-то расхождения в философии и делают жизнь интересной.

Пока ассистент вдевал свинке в ухо жетон и водворял ее обратно в банку, Готлиб записал в журнал ее вес, дату введения инфекции и давность хранения бактериальной культуры. Эту запись он своим четким почерком воспроизвел затем на доске, приговаривая:

– Господа, самая важная вещь в жизни – не жить, а думать о жизни. И самое важное в проведении опытов – не сделать опыт, а записать его; оч-чень аккуратно, в цифрах, – записать чернилами. Мне не раз говорили, что многие умники находят для себя возможным сохранять данные в голове. Я часто с удовлетворением замечал, что у таких умников нет голов, в коих они могли бы сохранить данные. Это очень хорошо, потому что мир таким образом никогда не узнает их выводов, и эти выводы не засоряют науку. Теперь я введу инфекцию второй свинке – и студенты могут разойтись. К следующей нашей встрече я попросил бы вас прочитать книгу Уолтера Патера¹⁹ «Марий эпикуреец», чтобы позаимствовать у него спокойствия, в котором заключается тайна лабораторного искусства.

В толчее раздевалки Ангус Дьюер заметил одному дигаммовцу:

– Готлиб – старая лабораторная крыса; он лишен воображения; окопался здесь, вместо того чтобы выйти в мир и упиваться борьбой. Но руки у него ловкие. Превосходная техника. Он мог бы быть первоклассным хирургом и наживать пятьдесят тысяч долларов в год. А сейчас он вряд ли имеет больше четырех тысяч.

Айра Хинкли, полный смущения, пошел домой один. Этот рослый и шумливый пастор был на редкость добрым человеком. Он почтительно принимал на веру все, что ему говорили преподаватели, как бы оно ни противоречило всему остальному; но умерщвление животных – с этим он не мог примириться. По неясной для него связи он вспомнил, как в прошлое воскресенье, в захудалой часовне, где он проповедовал, пока учился на медицинском факультете, он славословил жертвенную смерть мучеников и как потом запели о крови агнца, об источнике,

¹⁷ Дураков (нем.).

¹⁸ Д.М. – доктор медицины; катартик – слабительное; Готлиб имеет в виду шаблонное выписывание рецептов.

¹⁹ Патер, Уолтер (1839–1894) – английский искусствовед, автор книг по искусству и философии Возрождения и Древней Греции, а также философского романа «Марий эпикуреец» (1885) из времен Марка Аврелия, римского императора и философа I в. н. э.

наполнившемся кровью из жил Эммануила, но нить этой мысли он потерял и брел к Дигамме Пи в тумане раздумчивой жалости.

Клиф Клосон, подхвативши под руку Пфаффа Толстяка, гремел:

– Ух ты! Здорово передернуло свинку, когда фатер Готлиб вогнал в нее иглу!

И Толстяк молвил:

– Не надо! Прошу тебя, не надо!

А Мартин Эроусмит видел себя производящим тот же опыт; и когда он вспоминал непогрешимые пальцы Готлиба, его рука сама изгибалась в подражание.

Морские свинки становились все более вялыми. Через два дня они перевернулись на спинки, судорожно задергали лапками и умерли. С трепетом ожидая новых ужасов, студенты собрались на вскрытие. На демонстрационном столе стоял деревянный поднос, исколотый кнопками, которыми на нем уже много лет укреплялись трупы. Морские свинки лежали в стеклянной посудине неподвижные, шерстка на них ошетичилась. Аудитория старалась припомнить, какие они были резвые и живые. Ассистент распластал одну из них, прикрепив кнопками лапки к доске. Готлиб потер свинке брюшко смоченной в лизоле ватой, сделал надрез от брюшка до шеи и прижег сердце докрасна раскаленным металлическим шпателем – студенты задергались, когда слышали шипение мяса. Как священнослужитель дьявольских мистерий, Макс Готлиб вытянул пипеткой почерневшую кровь. Разбухшими легкими, селезенкой, печенью и почками ассистент наносил волнистые мазки на предметные стекла, окрашивал препарат и передавал его на рассмотрение слушателям. Студенты, которые уже научились глядеть в микроскоп, не закрывая одного глаза, принимали гордый вид профессионалов, и все они говорили о радости опознавания бациллы, когда, подкручивая медный винт, находили правильный фокус, и перед ними, выплыв из тумана, резко и отчетливо вырисовывались на стеклышках клетки. Но студентам было не по себе, потому что Готлиб сегодня остался с ними, молча шагал между столами и наблюдал – наблюдал за ними, и наблюдал за тем, как распоряжаются останками морских свинок, и над столами шло нервное перешептывание о некоем студенте, который умер от сибирской язвы, получив инфекцию в лаборатории.

Для Мартина эти дни были отмечены чувством удовлетворения и радости: пылом яркой игры в хоккей, ясным степным простором, откровением классической музыки и восторгом творчества. Он рано просыпался и с удовольствием думал о предстоящем дне; преданно, не видя ничего, спешил он к своей работе.

Толчея бактериологической лаборатории приводила его в экстаз: студенты, скинув пиджаки, фильтруют бульоны, их пальцы липки от сморщенных листов желатина; или они подогревают питательную среду в автоклаве, похожем на серебряную гаубицу. Шумные бунзеневские горелки под сушильными шкафами, пар от стерилизаторов Арнольда, клубящийся к потолку, заволакивающий окна, пленяли Мартина своей энергией; и самым лучезарным в мире были для него ряды пробирок, наполненных водянистой сывороткой и заткнутых кофейно-бурой опаленной ватой, тонкая петля из платиновой проволоки, опущенная в сверкающий стакан, фантазмагорический частокол из высоких стеклянных трубок, таинственно соединяющих колбы и реторты, бутыл с краской генцианвиолет.

Он начал – быть может, из юношеского подражания Готлибу – самостоятельно работать в лаборатории по ночам... В длинной комнате темным-темно, только мерцает газовый рожок за микроскопом. Конус света зажигает глянцем яркую медную трубу, бросает блик на черные волосы Мартина, когда тот склоняется над окуляром. Мартин изучает трипаносомы, выделенные из крысы, – восьмилучные розетки, окрашенные метиленовой синькой; гроздь организмов, изящная, как нарцисс; лиловые ядра, голубые клетки, тонкие линии жгутиков. Мартин возбужден и немного горд; он превосходно справился с окраской трипаносом, а это нелегко –

окрасить розетку, не испортив форму лепестков. В темноте слышались шаги, усталые шаги Макса Готлиба, рука легла на плечо Мартина. Молча поднимает Мартин голову, пододвигает Готлибу микроскоп. Нагнувшись, с окурком папиросы в зубах (любой смертный ослеп бы от такого дыма), Готлиб всматривается в препарат.

Он на четверть дюйма убавил пламя горелки и протянул:

– Великолепно! У вас заметно мастерство. О, в науке есть искусство – для немногих. Вы, американцы, – очень многие из вас, – вы полны идей, но нет у вас терпения, вас страшит прекрасная скука долгих трудов. Я уже вижу – я давно наблюдаю за вами в лаборатории, – вы, пожалуй, можете приняться за трипаносом сонной болезни. Они очень интересны, и работать с ними оч-чень щекотливая штука. Это – замечательная болезнь. В некоторых африканских деревнях ею болыны пятьдесят процентов жителей, исход неизменно смертельный. Да, я думаю, вы могли бы работать с этими трипаносомами.

Для Мартина это было все равно что получить в бою командование бригадой.

– К двенадцати часам, – продолжал Готлиб, – мне приносят сюда в кабинет бутерброды. Если засидитесь так поздно, мне будет приятно, чтобы вы зашли ко мне перекусить.

В двенадцать Мартин неуверенно шел по коридору к безупречно чистой лаборатории Готлиба. На столе ждал кофе и бутерброды – странно маленькие, превосходные бутерброды. «Иностранные», – решил Мартин, воспитавший свой вкус в студенческих столовых.

Готлиб говорил – и Клиф был забыт, а Дьюер стал казаться смешным карьеристом. Он вспоминал лондонские лаборатории, обеды в морозные вечера в Стокгольме, прогулки по Монте-Пинчио на закате, пылающем за куполом Святого Петра, вспоминал грозную опасность и неодолимую омерзительность замазанного выделениями белья в заразных бараках Марселя. Отбросив обычную сдержанность, рассказывал о самом себе и своей семье, как если б Мартин был ему ровесником.

Один его двоюродный брат сделался полковником в Уругвае, а другой, раввин, замучен во время еврейского погрома в России. Жена больна – вероятно, рак. Трое детей; младшая – дочка, Мириам, – хорошая музыкантша, но сын, четырнадцатилетний мальчик, огорчает родителей, не хочет учиться. Сам он много лет работает над синтезом антител; сейчас зашел в тупик, и в Могалисе нет никого, кто бы интересовался его работой, никого, кто бы его подталкивал; но он пережил много приятных часов, расправляясь с теорией опсопинов, и это его подбадривает.

– Нет, я ничего не сделал, хоть и порядком досадил людям со слишком большими претензиями. Но я мечтаю о подлинных открытиях в будущем. И... Нет. Мне за пять лет не попадается и пяти студентов, которые понимали бы, что значит мастерство и точность плюс смелое воображение в гипотезах. У вас, мне думается, это есть. Если я могу вам помочь... Так!

Думается мне, хорошим врачом вы не станете. Быть хорошим врачом неплохо, есть среди них подлинные художники, но их ремесло не для нас, лабораторных затворников. Однажды я было нацепил на себя ярлычок Д.М. Это было в Гейдельберге... дай бог памяти!.. в тысяча восемьсот семьдесят пятом году! Но я не мог по-настоящему увлечься бинтованием лодыжек и разглядыванием языков. Я был последователем Гельмгольца – вот был человек! Веселый, отчаянный!.. Я пробовал делать изыскания в акустике, – работал я скверно, невероятно скверно, но одно я узнал, – что в этой юдоли слез нет ничего верного, кроме количественного метода. Взялся я за химию, был последним пачкуном. От химии перешел к биологии – хлопотливая оказалась штука. Но поработал не зря. Я кое-что открыл. И хотя временами я чувствую себя изгнанником, чувствую холод... мне, знаете, пришлось в свое время оставить Германию за отказ петь «Die Wacht am Rhein»²⁰ и за попытку убить одного кавалерийского офицера... Здоровенный был – и я его чуть не задушил... Вот как я расхвастался! Но тридцать лет назад я был крепкий парень! Н-да! Так!

²⁰ «Стража на Рейне» – немецкий националистический гимн.

Одно только смущает бактериолога, когда он настроится философически: к чему нам уничтожать эти милые патогенные микроорганизмы? Уверены ли мы, когда смотрим на этих весьма непривлекательных молодых студентов, из тех, что примыкают к ХАМЛу и поют нудные псалмы и носят шляпы с выжженными на подкладке инициалами, – уверены ли мы, что стоит тратить время на охрану их от какой-нибудь блестяще работающей тифозной бациллы с ее прелестными жгутиками? Знаете, я однажды спросил декана Сильву, не лучше ли было бы напустить на мир патогенные бактерии и разрешить таким путем все экономические проблемы. Но ему не понравился мой метод. Правда, он старше меня; и он, я слышал, дает иногда званые обеды, где присутствуют епископы и судьи, прекрасно все одетые. Он, конечно, больше смыслит, чем немецкий еврей, который любит старого Ницше, и старого Шопенгауэра (хотя у Шопенгауэра – черт возьми – был телеологический уклон), и старого Коха, и старого Пастера, и нестарых Жака Лёба²¹, и Аррениуса²². Да! Однако я несу вздор! Пойдем посмотрим на ваши стеклышки и... пожелаем друг другу спокойной ночи!

Проводив Готлиба до его нелепого коричневого домика и взглянув на прощанье в его лицо, такое замкнутое, точно полуночного ужина и бессвязной беседы никогда и не было, Мартин побежал домой совсем пьяный.

²¹ Лёб, Жак (1859–1924) – американский физиолог, работал главным образом в области физиологии протоплазмы.

²² Аррениус, Сванте Август (1859–1927) – шведский физик, работал в области физической химии.

Глава 5

Хотя бактериология заполняла теперь всю жизнь Мартина, в университете считалось, что он изучает еще и патологию, гигиену, топографическую анатомию и множество других предметов, в которых увяз бы и гений.

Мартин и Клиф Клосон жили в большой комнате с цветастыми обоями, грудями грязного платья, железными кроватями и плеватальницами. Они сами готовили себе завтрак; обедали наспех в передвижной «Столовой пилигрима» или в закуской «Капля росы». Клиф время от времени действовал на нервы; он ненавидел открытые окна; разговаривал о грязных носках; пел «Умрете ль вы от диабета», когда Мартин занимался, и был абсолютно не способен хоть слово молвить в простоте. Обязательно должен был говорить «с юмором». Он спрашивал: «Как ваше просвещенное мнение, не пора ли нам подкрепить нашу бrenную плоть и заткнуть дырку в рыле?» или «Что скажете – не опрокинуть ли нам несколько калорий?» Но для Мартина в нем было обаяние, которое нельзя было вполне объяснить веселостью Клифа, живостью его ума, его безотчетной отвагой. В целом Клиф был нечто большее, чем сумма его отдельных качеств.

Захваченный радостью лабораторной работы, Мартин редко вспоминал о своих недавних товарищах по Дигамме Пи. Он заявлял при случае, что преподобный Айра Хинкли – деревенский полисмен, а Эрвинг Уотерс – лудильщик, что Ангус Дьюер на пути к успеху перешагнул бы через труп своей бабушки и что такому идиоту, как Пфафф Толстяк, практиковаться на незащищенных пациентах – сущее преступление; но по большей части он их игнорировал и перестал изводить их. Когда же он пережил свои первые триумфы в бактериологии и открыл, как он еще ничтожно мало знает, он стал до странности скромн.

Но если он теперь меньше докучал своим однокурсникам, то тем несносней стал в аудитории. Он перенял у Готлиба слово «контроль», употребляемое применительно к человеку, к животному или химическому препарату, которые во время опыта в целях проверки не подвергаются никакому воздействию; это слово доводило людей до исступления. Когда какой-нибудь врач хвастался успехом, достигнутым после применения такого-то лекарства или такого-то электроаппарата, Готлиб всегда фыркал в ответ: «А где у вас контроль? Сколько пациентов наблюдали вы в тождественных условиях и сколько из них не получило того же лечения?» И вот Мартин стал твердить за ним: «Контроль, контроль, контроль, где у вас контроль? Где контроль?» – так что под конец большинство его товарищей и многие преподаватели готовы были его линчевать.

Особенно докучлив бывал он на лекциях по фармакологии.

Из профессора фармакологии, доктора Ллойда Дэвидсона, вышел бы отменный лавочник. Он был очень популярен. Будущий врач мог научиться у него самому важному: какие лекарства прописывать больному, в особенности когда вы не можете выяснить, что с ним. Студенты усердно слушали его курс и выучивали наизусть священные сто пятьдесят рецептов (доктор Ллойд Дэвидсон гордился, что дает их на пятьдесят штук больше, чем его предшественник).

Но Мартин бунтовал. Он спрашивал во всеуслышание:

– Доктор Дэвидсон, откуда известно, что ихтиол помогает при рожистых воспалениях? Ведь он не что иное, как окаменелая рыба – чем это лучше толченых мощей или куриного желудка, которыми лечили в доброе старое время?

– Откуда известно? Оттуда, мой юный скептик, что тысячи врачей годами пользовались ихтиолом и убеждались, что пациенты от него поправляются. Вот откуда это известно!

– Но по чести, доктор, а может, пациенты все равно поправились бы? Не кроется ли здесь обычное *post hoc, propter hoc*²³. Ставился ли когда-нибудь широкий опыт на множестве пациентов сразу – опыт с контролем?

– По всей вероятности, не ставился и едва ли будет когда-нибудь поставлен, пока какому-нибудь гению вроде вас, Эроусмит, не удастся собрать в одно стадо несколько сотен человек с абсолютно тождественным случаем рожи. А до тех пор, я надеюсь, все вы, господа, не обладая, может быть, глубокими научными познаниями мистера Эроусмита и его сноровкой в обращении с техническими терминами вроде «контроля», будете по моему скромному совету пользоваться по старинке ихтиолом.

Но Мартин упорствовал:

– Объясните, пожалуйста, доктор Дэвидсон, что пользы, в самом деле, заучивать наизусть все эти рецепты? Большинство из них мы позабудем, а кроме того, всегда можно заглянуть в справочник.

Дэвидсон поджимал губы, потом отвечал:

– Эроусмит, мне крайне неприятно разговаривать с человеком вашего возраста, как с трехлетним мальчиком, но, очевидно, придется. Итак, извольте заучивать свойства лекарств и запись рецептов, *потому что я этого требую!* Если бы мне не жалко было впустую занимать время остальной аудитории, я попробовал бы убедить вас, что мои предписания можно принять не только в силу моего скромного авторитета, но и потому, что они представляют собою итоги, подведенные за много веков умными людьми, – умнее и уж, во всяком случае, немного постарше вас, мой друг. Но так как у меня нет желания пускаться в риторику и красноречие, я скажу вам только, что вы будете следовать моим предписаниям и будете учить рецепты и запоминать их наизусть, потому что я этого требую!

Мартин подумывал о том, чтобы вовсе бросить медицинский курс и специализироваться по бактериологии. Он попробовал излиться перед Клифом, но Клифу наскучили его терзания, и Мартин опять обратился к энергичной, гибкой Маделине Фокс.

Маделина показала себя и отзывчивой и рассудительной. Почему не окончить медицинский факультет? Потом виднее будет, что делать.

Они гуляли, бегали на коньках, на лыжах, посещали спектакли Университетского драматического общества. Мать Маделины, вдова, приехала к дочке и сняла с нею крошечную квартиру под крышей многоэтажного доходного дома – из тех, что стали вытеснять просторные старые деревянные дома Могалиса. Квартирка была полна литературы и украшений: бронзовый Будда из Чикаго, репродукция эпитафии Шекспира, собрание сочинений Анатоля Франса на английском языке, фотография Кельнского собора, плетеный чайный столик и на нем самовар, устройства которого не понимал никто в университете, альбом с открытками. Мать Маделины была вдовствующей герцогиней с Главной улицы – статная, с белыми волосами, однако ходила она в методистскую церковь. В Могалисе студенческий жаргон приводил ее в смущение. Она скучала по родному городу, по церковным собраниям и по заседаниям женского клуба. Дамы в этом году занялись там вопросами педагогики, и ей обидно было, что она упускает такую возможность познакомиться с университетской жизнью.

Теперь, когда у нее был свой дом и почтенная дуэнья, Маделина стала устраивать «приемы»: к восьми часам вечера кофе с шоколадным тортом, салат из цыплят и птиже. Она приглашала Мартина, но тот ревниво оберегал свои вечера, чудесные вечера исследовательской работы. Впервые Маделине удалось залучить его к себе только в январе на большой новогодний вечер. Играли в «объявления», то есть ставили живые картины, изображавшие рекламу,

²³ «После этого – значит, вследствие этого» (*лат.*) – формула, обозначающая истолкование последовательности фактов наличием между ними причинной связи.

которую публика должна была расшифровать; танцевали под граммофон; и ужинали не как-нибудь, а за маленькими столиками с бесконечным множеством салфеточек.

Мартину непривычна была такая изысканность. Пришел он неохотно, держался мрачно, но ужин и женские туалеты произвели на него впечатление; он увидел, что танцует скверно, и завидовал студенту-выпускнику, умеющему танцевать модный вальс «бостон». Не было той силы, того таланта, того знания, которых Мартин Эроусмит не жаждал, если только ему удавалось разглядеть их сквозь толстый пласт своей отрешенности от мира. Пусть он не стремился к богатству, зато ко всякому умению рвался с ненасытной жадностью.

Против воли восхищался он другими, но чувство это тонуло в его восторге перед Маделиной. До сих пор он ее видел только на улице в строгом костюме, теперь же ему явилась пленительная комнатная Маделина, стройная, в желтом шелку. Она казалась ему чудом такта и непринужденности, когда понукала гостей к видимости веселья. А такт был нужен, ибо среди гостей присутствовал доктор Норман Брамфит, и в этот вечер доктор Брамфит играл в оригинальность и озорство. Он делал вид, что хочет расцеловать Маделинину мамашу, чем чрезвычайно смущал бедную старушку; он пел крайне непристойную негритянскую песню, в которой встречалось слово «черт»; он разъяснял группе студенток, что любовные похождения Жорж Санд можно отчасти оправдать тем влиянием, которое она оказывала на талантливых мужчин; и когда студентки поджали губы, он загарцевал и засверкал очками.

Маделина занялась им. Она вывела трелью:

– Доктор Брамфит, вы страшно ученый и так далее и все такое, и я иногда на лекции английской словесности боюсь вас прямо до смерти, но порой вы просто гадкий мальчик, и я вам не позволю дразнить моих девочек. Помогите мне принести шербет, вот вам подходящее занятие.

Мартин ее боготворил. Он возненавидел Брамфита за предоставленную ему привилегию скрываться с нею вдвоем в чуланообразную кухню. Маделина! Она одна его понимает! Здесь, где каждый тянется к ней, а доктор Брамфит изливает на нее чуть не матримониальную нежность, она блистает, как алмаз, и он, Мартин, должен получить ее в собственность.

Вызвавшись помочь ей накрывать столы, он улучил мгновение и простонал:

– Боже, вы так прелестны!

– Я рада, что вы находите меня довольно милой.

Она, роза и кумир вселенной, дарит его благосклонностью!

– Можно зайти к вам завтра вечером?

– Н-не знаю, я... Да, пожалуй.

В этой биографии молодого человека, который ни в коей мере не был героем, который видел в себе самом искателя истины, однако всю жизнь скользил и спотыкался и увязал в каждом болоте, даже самом явном, – мы не можем сказать, что намерения Мартина относительно Маделины Фокс были, что называется, «честными». Он не был донжуаном, он был бедным студентом-медиком, которому предстояло годами ждать заработка. Понятно, он не собирался делать предложение. Он хотел... как большинство бедных и пылких молодых людей в подобных случаях, он хотел всего, что удастся сорвать.

Летя к ее квартире, он ждал приключения. Он рисовал себе, как девушка таит; чувствовал, как ее рука скользит по его щеке. Предостерегал самого себя: «Не валяй дурака! Может быть, ничего и нет. Брось, не взвинчивай себя – потом разочаруешься. Она, верно, хочет отчитать тебя за какой-нибудь промах на вечере. Будет, верно, сонная и пожалеет, что пригласила. Вот и все!» – но сам ни на секунду этому не верил.

Он позвонил, она ему открыла, он проследовал за нею через невзрачную переднюю, томясь желанием схватить ее за руку. Вошел в залитую светом гостиную – и увидел мать Маделины, несокрушимую, как пирамида, вечную, как зима без солнца.

Но мать, конечно, догадается уйти и оставить за ним поле битвы.

Мать не уходила.

В Могалисе пришедшему в гости молодому человеку подобает уходить в десять часов, но с восьми до четверти двенадцатого Мартин сражался с миссис Фокс; он говорил с ней на двух языках: вслух болтал о пустяках и заявлял немой, но яростный протест, меж тем как Маделина... Маделина присутствовала – сидела рядом и была хорошенькой. На том же безмолвном языке миссис Фокс отвечала гостю, пока в комнате не стало душно от их спора, хотя они, казалось, беседовали о погоде, об университете и о трамвайном сообщении с Зенитом.

– Да, несомненно, со временем, я думаю, вагоны будут ходить каждые двадцать минут, – сказал он внушительно.

(«Тьфу ты! Чего она нейдет спать? Ура! Складывает вязанье. Какое там! Надо же! Принимается за новый клубок!»)

– О да, я уверена, что сообщение улучшится, – сказала миссис Фокс.

(«Молодой человек, я мало с вами знакома, но не думаю, чтоб вы представляли подходящую партию для Маделины. Во всяком случае, вам пора уходить».)

– Да, конечно! Здорово улучшится.

(«Я вижу, что засиделся, и вижу, что ты это видишь, но мне плевать».)

Казалось невозможным, что миссис Фокс выдержит его упрямую настойчивость. Мартин пускал в ход силу внушения, напряжение воли, гипноз, но когда он, побежденный, собрался уходить, мамаша все еще сидела на месте, невозмутимо-спокойная. Они попрощались не слишком тепло. Маделина проводила его до дверей; на восхитительные полминуты он остался с ней наедине.

– Я так хотел... Я хотел с вами поговорить!

– Знаю. Мне очень жаль. В другой раз! – прошептала она.

Он ее поцеловал. То был бурный поцелуй и очень сладкий.

Вечеринки с приготовлением помадки, танцы на катке, поездки на санях, литературный вечер с почетной гостьей-журналисткой, ведущей светскую хронику в зенитском «Адвокейт таймс», – Маделина закружилась в вихре приятных, но крайне утомительных развлечений, и Мартин послушно и недовольно следовал за нею. Она, видимо, испытывала трудности в привлечении достаточного числа кавалеров, и на литературный вечер Мартин притащил негодующего Клифа Клосо́на. Клиф бурчал: «В жизни не потел в таком курятнике!» – но он вынес из «курятника» сокровище – услышал, как Маделина назвала Мартина на свой любимый лад «Мартикинс». Это было ценное приобретение. Клиф стал его звать Мартикинс. Клиф подбил и других звать его Мартикинс. Пфафф Толстяк и Эрвинг Уотерс звали его Мартикинс. А когда Мартин собирался уснуть, Клиф каркал:

– Ги-ги! Ты, чего доброго, женишься на ней! Девушка бьет без промаха. Попадает в молодого Д.М. с восьмидесяти пяти шагов. Н-да! Посмотрим, как вы будете заниматься наукой, когда эта юбка засадит вас прижигать миндалины... Она из этих модных литературных птичек. Знает все насчет литературы, только вот читать как будто не научилась... Недурна собой... пока что. Со временем разжиреет, не хуже своей мамаша.

Мартин ответил, как полагалось, и сказал в заключение:

– Изю всех здешних девушек, которые окончили колледж, она одна – с огоньком. Другие все сидят сиднем и разговаривают, а она устраивает всякие вечеринки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.